

НАСТОЯЩАЯ
САРАСЕНКА

ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ
МЕСТЬ В ДОМИНО



Чтобы понять истину, нужно говорить о ней. Здесь и сейчас.

Павел Амнуэль

Месть в домино

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2805325

Месть в домино: Вече, Снежный Ком М; М.; 2010

ISBN 978-5-904919-02-3, 978-5-9533-4979-6

Аннотация

Два убийства совершены во время оперных представлений в двух разных театрах на разных континентах. Два полицейских следователя расследуют преступления, которые не могли произойти. Но произошли...

Это роман о невозможном и, в то же время, реальном. Роман, действие которого происходит одновременно, но в двух столетиях. В разных странах, но на одной сцене. Это роман о любви и мести, любви и разлуке. И просто о любви.

"С творчеством Амнуэля я безусловно знаком — читаю практически все, что выходит у него в России. Серьезный автор и умелый выдумщик" (Борис Стругацкий).

Содержание

ПЕРВЫЙ АКТ	5
Номер 1. Вступление	5
Номер 2. Финал. Сцена смерти	6
Номер 3. Ансамбль и дуэтино	12
Номер 4. Речитатив	15
Номер 5. Монолог	16
Номер 6. Речитатив и терцет	19
Номер 7. Терцет	25
Номер 8. Монолог, дуэт и дуэтино	29
Номер 9. Сцена, хор и дуэт	36
Номер 10. Дуэт	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Павел Рафаилович Амнуэль

Месть в домино

Опера-детектив в двух актах

Музыка: Джузеппе Верди

Либретто: Павел Амнуэль

Главные действующие лица (в порядке появления на сцене)

Андрей Бочкарев, физик

Тамара Беляева, певица

Томмазо Гастальдон, певец, исполнитель партии Густава III

Томас Винклер, певец, исполнитель партии Анкастрема

Кевин Стадлер, старший инспектор, отдел убийств, полиция Бостона

Джузеппе Верди, композитор

Джузеппина Стреппони, подруга Верди, в прошлом певица

Антонио Сомма, адвокат, либреттист

Петер Фридхолм, майор, криминальная полиция Стокгольма

ПЕРВЫЙ АКТ

Номер 1. Вступление

Полгода спустя после трагедий, названных в прессе «Смерть в домино», я не перестаю размышлять о том, возможно ли было не допустить произошедшего. Мог ли я за неделю, день или хотя бы час до начала злополучных представлений сложить два и два, как сложил потом, понять то, что понял слишком поздно, и... Что? Действительно, что я мог сделать – или не сделать – в тот зимний вечер?

Я мог отменить семинар (и что бы от этого изменилось, если я уже знал то, что знал, и доклад мой все равно состоялся бы в другой день?). Я мог поехать в театр вместе с Тамарой (и что бы изменилось от этого, кроме моих непростых отношений со старшим инспектором Стадлером?). Я мог, наконец, заняться другой физической проблемой... Нет, такой вариант вряд ли осуществился в какой бы то ни было реальности. Но тогда...

Конечно. Все было неизбежно, но все могло быть иначе, и это диалектическое противоречие как-то примиряет меня с тем, что случилось.

Я понимаю, что истощаю себя мыслями о возможном, но маловероятном, о случившемся, но не обязательном, я знаю, что сейчас, когда все закончилось и осталось в полицейских протоколах, газетных публикациях и телевизионных репортажах, бессмысленно размышлять о других вариантах развития событий. Понимать-то я все это понимаю, но управлять собственными мыслями и особенно эмоциями не в состоянии.

Тамара гастролирует в Испании, в барселонском «Лисео» она поет завтра Лючию в опере Доницетти, я звонил ей, пожелал успеха и услышал, как она чмокает меня в ухо. Это ее вторая премьера после злополучного «Густава», и, видимо, поэтому я так волнуюсь, хожу по комнате из угла в угол и пытаюсь не смотреть в сторону компьютера, где светится на экране страница с датами, именами и названиями. Страница время от времени гаснет, и по темному фону начинает бродить надпись «Моя Тамара». Проходя мимо, я трогаю пальцем какую-нибудь клавишу и опять вижу на экране текст, где, в принципе, есть все, что нужно для решения проблемы. Для разгадки. Почему я не догадался тогда, сразу?

Я меряю шагами комнату, выглядываю в окно, откуда открывается замечательный вид на университетский парк. Я опускаю шторы, чтобы зелень деревьев и голубизна неба не ослепляли, я хочу видеть только то, что на экране: имена, даты, названия, я опять сопоставляю одно с другим, знаю, что иного решения не существует, но все равно прохожу мимо, потому что знаю я и другое, и это другое важнее логики.

Я знаю имя убийцы. Но мне не убедить в этом старшего инспектора Стадлера.

Он тоже знает имя убийцы. Но убежден в том, что никогда не сможет предъявить ему обвинение.

Самое странное, что это – одно и то же имя.

Началась ли эта история в четыре часа и тридцать три минуты пополудни 17 февраля нынешнего, 2009 года? Или закончилась? А может, все случившееся вообще не имело ни конца, ни начала? Началось ли все с финала и закончилось ли вступлением, которое я только что сочинил в уме и записал в своей памяти?..

Номер 2. Финал. Сцена смерти

В зале было темно, и Тамаре казалось, что там никого нет, потому что пустота партера дышит совсем не так, как заполненные зрителями ряды. И дышит не так, и не так смотрит – она знала, что и у пустоты есть глаза, точнее, не глаза, а взгляд, и взгляд этот всегда разный, хотя пустота сама по себе всегда одинаковая. И все наоборот, если в партере сидят зрители – тогда почему-то кажется, что взгляды людей смешиваются в пространстве над сценой и создают нечто усредненное и всякий раз одинаковое, глядящее откуда-то сверху, хотя в зале Бостонской Лирической оперы не было амфитеатра, только ложи бельэтажа, кроме партера, поднимавшегося лесенкой, как в кинотеатре «Прогресс», куда Томку водили с другими детьми на дневные сеансы.

Маэстро Лорд стоял за пультом, как обычно, подтянутый, в смокинге, но с расстегнутым воротником рубашки – давал понять, что сейчас все-таки не премьеры (это будет завтра) и даже не генеральная репетиция (она была вчера), а последний прогон, ну-ка, давайте еще раз с шестой цифры, выход Амелии, мисс Беляева, пожалуйста, а вы, мистер Гастальдон, два шага вперед, как договаривались, вот так, нормально, оркестр, внимание, здесь piano, а не mezza voce, скрипки готовы, начали...

Платье было тяжелым, но удобным, и в талии не жало, не мешало держать дыхание. Тамара стояла так, чтобы краем глаза видеть дирижера. Не то чтобы она нетвердо знала партию, но, если видишь дирижерскую палочку, все-таки чувствуешь себя увереннее. Томмазо подошел к ней сзади, она ощутила запах пудры, которой был обсыпан его парик, а от камзола пахло театральной затхлостью, хотя с чего бы, сшили костюм специально к премьеры, и если Томми сейчас начнет целовать ей плечи, как на прошлой репетиции, она ничего не сможет ему сказать, только потом, а потом и смысла нет, он понимает, когда говоришь сразу и очень резко, совсем, как ребенок. Хороший, в принципе, человек, и певец замечательный, какое у него звучное и звонкое си, наверно, он и до потянет, и даже до-диез, интересно, каков он в «Трубадуре», почему она думает об этом, когда...

Тамара обернулась и – все, уплыла. Густав, ее любимый Густав стоял перед ней, прикрывшись черной полумаской, она видела в прорезях для глаз его любящий взгляд, читала в нем печаль и знала уже, чуяла женским чутьем, что ничего больше не будет, и это, наверно, правильно, но, господи, как страшно и больно, и нужно ему сказать... да, обязательно... о том, что происходило вчера, как муж заставил ее тянуть жребий, и как на нее смотрели Кристиан с Риббингом.

– Ah perche qui! Fuggite...¹

– Sei quella dello scritto?²

«Я? Нет, я не посылала записок, откуда... Страшно».

– La morte qui v'accerchia...³

– Or ti conosco, Amelia: quell'angelo tu sei!..⁴

«Как звучит его голос, он любит меня, а я...»

– T'amo, si, t'amo, e in lagrime a' piedi tuoi m'atterro...⁵

– Sin che tu m'ami, Amelia, non curo il fato mio... Salva ti vo'...⁶

¹ О, зачем вы здесь? Уйдите... (итал.)

² Разве вы не посылали мне записки? (итал.)

³ Смерть подбирается к вам... (итал.)

⁴ Маска, я тебя узнаю, ты Амелия: да, мой ангел!.. (итал.)

⁵ Я люблю вас, но уходите, умоляю, если вы не уйдете, вас убьют... (итал.)

⁶ С тех пор как я полюбил, Амелия, моя судьба не важна мне. Но я должен спасти тебя... (итал.)

«Спасти? О чем это он? Не понимаю...»

– Domani... partirai col Conte⁷.

– Che?!

«Это я кричала? Наверно. Расстаться...» Густав прав, разве сама она решила не так же? Но почему тогда так рвется в груди...

– Ti lascio, Amelia... Addio...⁸

– Addio...

«Прощай. Он повторяет это слово, я повторяю за ним, мы вместе поем о том, как тяжело прощание...»

Глаза Тамары были полузакрыты, наступил очень трудный момент – лирическое *riano*, тонкая грань: чуть громче – и пропадет чувство, чуть тише – и даже в первых рядах никто не услышит это «прощай», после которого... сейчас...

Когда это произошло, Тамара подумала, что Летиция немного изменила мизансцену, не предупредив ни ее, ни Томмазо, иначе почему он посмотрел на нее с таким изумлением, будто...

Упал Гастальдон совсем не театрально, просто повалился, как куль с зерном, и, конечно, маэстро сразу постучал палочкой по пюпитру, даже сказал что-то в адрес короля Густава, наверняка нелестное. Тамара смотрела на дирижера, сейчас должен был быть ее возглас «Ах!», и потому пропустила самое главное. Всего-то на долю секунды она отвлеклась от своего визави, но за это ничтожное время изменилось столько, что, когда старший инспектор Бостонской полиции Кевин Стадлер расспрашивал ее о том, что она видела, сказать Тамаре было нечего, и это показалось полицейскому чрезвычайно подозрительным. Но сказать Тамаре действительно было нечего: поняв, что действие остановлено и «Ах!» пока не нужен, она обернулась, и картина, представшая ее неподготовленному к такому зрелищу взгляду, как говорят романисты, навсегда запечатлелась в памяти. Это Тамара и повторяла Стадлеру раз за разом, всего лишь подтверждая то, что говорили другие, и ничем не дополняя уже собранную старшим инспектором информацию.

Густав III, король Швеции, в исполнении итальянского тенора Томмазо Гастальдона, лежал ничком, прижав одну руку к груди, а вторую откинув в сторону, будто, падая, пытался обо что-то схватиться. На досках сцены растеклась уже довольно большая темная лужица, а камзол на спине был весь пропитан кровью, хотя как это могло произойти за какие-то доли секунды, Тамара себе ни тогда, ни потом представить не могла. Может, время для нее остановилось, а может, наоборот, припустило галопом?

Граф Анкастрем стоял над телом поверженного врага так, как и должен был стоять, согласно отрепетированной роли: слегка наклонясь вперед и подняв – чтобы все видели и не сомневались, кто совершил акт возмездия! – правую руку с зажатым в ней кинжалом.

Ступор, шок, полная растерянность и непонимание происшедшего... Остановив оркестр, маэстро Лорд стоял не шевелясь, – впрочем, он-то видел на самом деле меньше других и думал, наверно, что, неудачно упав, Гастальдон сейчас, кряхтя, поднимется, принесет извинения, и репетицию можно будет продолжить.

Граф Анкастрем – Том Винклер, высокий, на полголовы выше Гастальдона, красивый, как греческий бог, особенно в графском камзоле и напوماженном парике, уронил, наконец, кинжал, которым только что заколол ни в чем перед ним не повинного властителя, и с громким криком «Господи!» – совершенно не по роли – бросился на колени перед убитым, перепачкав в крови белые штаны, пошитые специально для премьеры.

⁷ Завтра... ты уедешь с графом. (*итал.*)

⁸ Я покидаю тебя, Амелия... Прощай... (*итал.*)

Поняв, что кровь – настоящая, Тамара почувствовала вдруг острый сладковатый запах, и именно это ощущение, а не вид мертвого тела, стало для нее непомерным и невозможным впечатлением, несовместимым с нормальным восприятием реальности. В общем, она самым тривиальным образом упала в обморок и хорошо хоть не в лужу крови, а рядом.

Что происходило на сцене, пока Тамара лежала без чувств, рассказал Том Винклер, который, хотя и находился в полной прострации, но запомнил все до мельчайших подробностей, которые и выложил полицейскому следователю, сразу упомянув самое важное обстоятельство: даже при большом желании он никак не мог заколоть своего друга Гастальдона по той простой причине, что в руке у него был бутафорский кинжал из папье-маше.

Кто-то дико завопил: «Врача!», кто-то в неожиданном рвении набросился на Винклера и заломил ему за спину руки, кто-то кричал: «Занавес! Дайте занавес!», что было и вовсе глупо, поскольку в зале находились только режиссер Вайншток и несколько человек из директорской канцелярии.

Помощник режиссера Летиция Болтон, стоявшая в левой кулисе, была, похоже, единственной, не потерявшей в тот момент головы. Прежде чем выбежать на сцену, она приказала кому-то из рабочих вызвать врача, позвонить в полицию и убрать полный свет, что и было сделано незамедлительно, поскольку в театре все знали, что не выполнившему распоряжений помрежа грозит как минимум денежный штраф.

Парамедики прибыли через семь минут – учитывая начавшиеся уже пробки, это было беспрецедентно короткое время, – а полиция в лице патрульного Новалеса и его напарника Бердски явилась минутой спустя и застала беднягу Гастальдона лежавшим в той же позе, в какой его застала смерть. Тамару Беляеву, исполнительницу партии Амелии, уложили в большое парадное кресло, которое, по идее, должно было изображать трон короля Швеции, а Винклер-Анкастрем стоял, опустив голову, с видом настолько растерянным, что полицейские к нему и обращаться не стали, решив, что к делу он не может иметь никакого отношения.

Тамару быстро привели в чувство, да и ей самой столь длительный обморок (почти десять минут без сознания!) показался странным – она, конечно, перепугалась насмерть, но не до такой же степени. Придя в себя, Тамара увидела склонившегося над ней полицейского.

– Ну вот, – сказал представитель власти, – вы в порядке, мисс?

– Наверно, – сказала Тамара. – Что случилось? Почему он его убил?

– Кто? – вежливо спросил полицейский. – Кто кого убил, мисс?

– Анкастрем, – сказала Тамара. – Густава. Между нами же ничего не было, клянусь!

Только дуэт на кладбище...

Из чего следует, что в тот момент Тамара была совершенно не в себе.

Старший инспектор прибыл в театр семнадцать минут спустя после звонка в управление патрульного сержанта Новалеса. Прежде всего, он прошел на сцену и нашел кинжал, лезвие которого было выпачкано кровью, застывшей на слое серебристой краски, которая должна была изображать блеск стали. Стадлер двумя пальцами поднял оружие преступления и положил в пластиковый пакет, чтобы передать улику номер один на дактилоскопическую экспертизу, хотя ему уже доложили, что кинжал был в руке Томаса Винклера, и все видели, как тот нанес Гастальдону предательский удар в спину, после которого король Густав упал, как и положено по либретто, однако...

– Да-да, – повторял Стадлер, морщась и стараясь не прислушиваться к выкрикам столпившихся в глубине сцены хористов, к которым присоединились и оркестранты, старавшиеся донести до полиции свое видение этих ужасных мгновений. Нестройный и совершенно немзыкальный хор напомнил старшему инспектору «Севильского цирюльника», которого он слышал лет пять назад, будучи в Нью-Йорке по делам службы. Лейтенант, с которым Стадлер пытался разобраться в деле о торговле наркотиками, оказался меломаном и пригла-

сил коллегу в «Метрополитен-Опера», любезно заплатив за билет, иначе старший инспектор не пошел бы слушать оперу, о которой знал только, что это всемирно признанный шедевр. Ему понравилось, и там-то во втором акте было место, когда главные персонажи одновременно пытались рассказать командиру карабинеров каждый свою версию произошедшего. Там этот шум был музыкальным, а здесь...

– Новалес, – позвал Стадлер патрульного, – очистите сцену от посторонних. Пусть останутся... – он подумал, – основные исполнители... сколько их было... трое? И дирижер. Он-то должен был видеть... Оркестр пусть спустится в яму, остальные – по гримерным, я потом с ними поговорю. Понятно?

Через минуту на сцене посторонних не осталось: только Тамара с Винклером, маэстро Лорд, да еще, конечно, никуда не собиравшаяся уходить Дженис Манчини дель Сесто, генеральный директор, женщина ослепительная во всех отношениях и даже сейчас выглядывавшая так, будто только что вышла из лучшего во всей Новой Англии салона красоты. Кроме миссис дель Сесто у задника стояли режиссер Альфред Вайншток и начальник группы осветителей Донг Чен, уверенный, что без его показаний полиция ни в коей мере обойтись не сможет, потому что он, единственный из всех, находясь при исполнении в верхней будке, видел такое...

Стадлер сел в одно из трех кресел, стоявших у правой кулисы, кивнул Винклеру и, пока баритон усаживался, пытаясь не помять свой театральный камзол, внимательно рассмотрел потенциального убийцу. Статен, относительно молод, лет тридцать пять, наверно, лучший возраст для оперного певца, расцвет таланта, и потому, скорее всего, самоуверен до невозможности, и обидчив, и, конечно, ревнив – не к женщинам, женщин у него до черта, а вот к славе... Если тенор сорвет больше аплодисментов, способен ли такой Винклер...

– Вы нанесли Гастальдону смертельный удар в спину, – начал Стадлер и получил, естественно, такой ответ, какого ждал:

– О чем вы говорите! Бутафорский кинжал! Папье-маше! Только муху можно таким... Да я на репетициях сто раз... и ничего! Он специально поворачивался ко мне так, чтобы... эффектнее, понимаете!

– Из чего следует, – рассудительно сказал Стадлер, – что сегодня вы держали в руке не бутафорский кинжал, а настоящий.

– Да вы! – Винклер вскочил и смотрел теперь на полицейского сверху вниз, полагая, видимо, что это даст ему хоть какое-то преимущество. – Какой настоящий? Не было... Вы его видели? Нашли?

Пока шла эта бессмысленная перепалка, единственной целью которой могло быть только стремление Стадлера вывести подозреваемого из равновесия настолько, что тот проговорится (или прокричится, что было, конечно, точнее), Тамара сидела в кресле, переводя взгляд с полицейского на графа Анкастрема. Она так и не вышла окончательно из роли и думала: «Господи, какой ужас, муж действительно убил короля, теперь его повесят, какой ужас, господи»...

– Вы не против, если я вас обыщу? – спросил Стадлер и, не дожидаясь ответа, поднялся, похлопал Винклера по бокам, провел руками, нащупывая возможные спрятанные предметы. Баритон продолжал кричать и обвинять полицейского во всех глупостях человеческих. Ничего в многочисленных складках его одежды спрятано не было – и уж, тем более, не оказалось острого кинжала, с помощью которого был несколько минут назад заколот исполнитель главной роли. Поскольку никто из основных персонажей до прибытия полиции не покидал сцену, оружие убийства могло находиться только где-то здесь и нигде больше, если, конечно, у убийцы не было сообщника, который в суматохе поднял брошенный Анкастром кинжал и оставил эту опасную улику где-нибудь... но, опять же, в театре, потому что из здания никто выйти не мог. Когда, однако, Стадлер представил себе обыск пяти десят-

ков комнат, плюс коридоры, помещения под и над сценой... Нет, все это ему определенно не нравилось.

– Ну, – сказал Винклер, неожиданно успокоившись. Неужели он до того момента действительно боялся, что в его одежде обнаружат настоящий кинжал, с помощью которого он якобы убил своего друга? – Ну, – повторил он, усаживаясь в кресло и взглядом приглашая старшего инспектора сесть напротив, – убедились? Послушайте, пока вы тратите на меня время, какая-то сволочь тут... он убежит, а вы...

– Никто никуда не убежит, – отрезал Стадлер. – Сидите.

Он обернулся к Тамаре, будто только что заметил ее присутствие.

– Ваше имя госпожа Беляев? Вы исполняли роль... м-м...

– Амелии, – пробормотала Тамара, – я жена вот... господина Анкастрема...

– Ну да, по роли. Что вы видели? Опишите, пожалуйста, так подробно, как только можете.

«И пусть господин Анкастрем послушает», – было написано на лице полицейского.

– Я... – пробормотала Тамара и, восстановив в памяти то, что, как ей казалось, было истинным ходом событий, описала Стадлеру движущуюся картинку, будучи уверена в том, что не только движения – свои, Густава и Анкастрема – восстановила верно, но и спетые каждым из них фразы передала – пропела *mezza voce* – с нужными акцентами.

Лицо Стадлера пошло пятнами – он был здесь не для того, чтобы слушать пение примадонны, решившей показать тупому служаке, что она, видите ли, не кто-нибудь, а главная солистка, – и он хотел было уже прервать эту странную вокализацию свидетельского показания, но Тамара допела, наконец, до нужного момента и сказала тихо:

– А потом я повернулась и посмотрела... Он лежал... И кровь... Муж все-таки убил короля!

– П-ф, – фыркнул Винклер и демонстративно отвернулся.

– Хорошо, – буркнул Стадлер. – Вы оба... Вы и вы. Поедете со мной. Я задерживаю вас до выяснения обстоятельств, как свидетелей... пока как свидетелей... убийства Томмазо Гастальдона.

– Но послушайте, старший инспектор! – вмешалась молчавшая до сих пор и стоявшая поодаль, сцепив ладони, миссис Дженис Манчини дель Сесто. – Послушайте, вы же не думаете, что... Это невозможно, и вы это прекрасно знаете! Завтра у нас премьера, вы понимаете, старший инспектор? Я могу заменить Густава, даже Анкастрема, но до субботы не будет никакой замены госпоже Беляевой, потому что дублирующая солистка занята в «Травиате» в Мадриде и будет здесь только в пятницу, вы понимаете, что произойдет, если сорвется премьера?

– Миссис, – с виду учтиво, но с явно показным раздражением, произнес Стадлер, – вы понимаете, что речь идет об убийстве?

– Нет, не понимаю! – воскликнула миссис дель Сесто. – Этой картонкой невозможно даже поцарапать!

Будто Стадлер и сам этого не видел...

На сцену вышла новая группа – это были криминалисты, сразу приступившие к работе и не обращавшие никакого внимания на людей, продолжавших выяснять отношения: они перевернули тело, и на Тамару взглянули широко открытые безжизненные глаза. Томмазо будто хотел понять, что же с ним произошло, он всегда так смотрел, когда не понимал чего-то, взгляд у него становился отсутствующим и будто плоским, как взгляд мраморной статуи, таким же он был и сейчас, и Тамара подумала, что на самом деле все это очень глупый розыгрыш, просто Гастальдон сильно задумался, но думать долго он был не в состоянии, и значит, сейчас...

Ничего, конечно, не изменилось, а взгляд кто-то из полицейских попросту выключил, закрыв Гастальдону глаза. Наверно, только в тот момент Тамара и поняла окончательно, что Томмазо умер, убит, умер, убит, умер...

Номер 3. Ансамбль и дуэтино

В театр никого не пускали, выпускать тоже не собирались – разве только по особому распоряжению Стадлера. Тамару и Винклера провели к полицейской машине сквозь успешную собравшуюся на улице толпу. В полицейском отделении на Блэкстоун стрит их рассадили, естественно, по разным камерам, объяснили права, разрешили позвонить адвокату – но только ему, а если у вас, господа, нет адвоката, то, извините, никому больше звонить вы не имеете права, в том числе и своим импресарио, дождитесь, когда вернется старший инспектор Стадлер, он и будет решать, что делать дальше.

Старший инспектор тем временем занял кресло в кабинете музыкального руководителя Лирической оперы маэстро Стивена Лорда. Удобное кресло, но сам кабинет Стадлеру не понравился – слишком все под старину, под девятнадцатый век, показуха, смотрите, мол, я не приемлю ничего современного, живу классикой: Верди, понимаете, Россини, Моцарт. Моцарта Стадлер узнал, а прочих композиторов никогда прежде в лицо не видел, прочитал подписи и запомнил, может пригодиться. Крикнул стоявшему за дверью сержанту, чтобы позвал хозяина кабинета.

Меня, понятно, при том разговоре не было, но некоторое время спустя маэстро пересказал все Тамаре, Тамара – мне, а прошедший через два фильтра текст теряет так много значимых моментов, что воспроизводить его нет особого смысла. Содержание же разговора, больше похожего на допрос, заключалось в том, что Стадлер пытался выяснить: какими были отношения солистов Винклера и Гастальдона («ровными, старший инспектор, они вообще плохо знали друг друга, познакомились здесь, на первой репетиции»), каково устройство сцены, мог ли Винклер за считанные секунды спрятать настоящее орудие убийства, есть ли на сцене какие-то потайные места («что вы, старший инспектор, есть два люка, но туда можно только провалиться, если опустить рычаг, а рычаг находится вовсе не там, а...»).

– Спасибо, маэстро, – сказал Стадлер. – Не будете ли вы так добры позвать госпожу дель Сесто?

Маэстро Лорд встал, возвысился над креслом, в котором сидел полицейский, будто склоненная над бурным морем скала, погладил привычным жестом свою лысину и сказал тихо, но с таким выражением, будто решалась судьба не оперного спектакля, а всей человеческой цивилизации:

– Старший инспектор, завтра в театр придут две тысячи шестьсот зрителей.

– Да-да, я понимаю, – пробормотал Стадлер.

– Вы не понимаете! – загремел Лорд. – Что бы ни случилось, они должны получить то, за что заплатили!

– Будто никогда не отменяли премьер...

– Никогда!

– Маэстро, – сказал Стадлер, не желая спорить, – я сделаю все возможное.

– Да, – кивнул Лорд. – Сделайте. А чтобы вы не забыли, я сейчас позвоню Энтони Роджерсу.

Роджерс, чтоб вы знали, – член Конгресса от нашего штата, человек, безусловно, влиятельный, но не думал же маэстро на самом деле, что конгрессмен станет вмешиваться в процесс отправления правосудия? Впрочем...

Как бы то ни было, Роджерс не помог ничем – его просто не оказалось в тот вечер в Бостоне, вместе с делегацией Конгресса он еще неделю назад отправился с визитом доброй воли в Китай, Японию и на Тайвань.

Вошедшая в кабинет Дженис Манчини дель Сесто, стоя перед старшим инспектором (тот тоже вынужден был подняться, не сидеть же, когда стоит женщина... такая женщина!),

объяснила Стадлеру, что да, убийство – это ужасно, но никто («никто, понимаете, старший инспектор, и я ручаюсь за свои слова!») из солистов, хористов, миманса, оркестра и технического персонала не мог этого совершить, тем более с помощью бутафорского кинжала, убийцу нужно искать не здесь, он, несомненно, сбежал, и вы, старший инспектор, поступаете неправильно, задерживая столько людей, когда надо объявить розыск по городу и перекрыть автострады.

В общем, глупость, конечно. Женщина, что с нее взять. Так, видимо, Стадлер и решил, потому что не стал спорить и спросил только, был ли этот бутафорский кинжал изготовлен в мастерских театра или куплен в магазине, и если да, то где именно.

За ответом его направили к заведующей бутафорским цехом миссис Ангранж, которую Стадлер и вызвал следующей, выслушав предварительно еще одну пламенную речь о праве американского зрителя на получение удовольствия согласно купленным билетам.

Миссис Ангранж, женщина лет под шестьдесят, до перехода в Лирическую оперу долгие годы работавшая в костюмерной Чикагского музыкального театра, цену себе знала, внимательно посмотрела на кинжал, лежавший в полиэтиленовом пакете, и сказала:

– Наш. Изготовлен у нас в мастерской в прошлом году вместо старого кинжала, который расклеился. Использовался в постановке «Кармен». Внизу на рукоятке инвентарный номер 054.

Номер действительно присутствовал. Как и пятнышки крови на картонном лезвии, покрашенном серебряной краской.

Вздохнув, Стадлер вызвал очередного свидетеля – это был начальник бригады осветителей Донг Чен – и приготовился, видимо, к долгому ночному бдению. Во всяком случае, известно, что свидетели в количестве ста восьмидесяти девяти человек были отпущены по домам только в третьем часу ночи. Разумеется, допросы вел не один Стадлер, иначе он не управился бы и за неделю.

Тамара и Винклер провели в камерах всю ночь – в восемь, когда пришел на работу судья Картер и ему были представлены собранные материалы по делу об убийстве, оба были выпущены с извинениями и просьбами не покидать город, пока ведется расследование. Они и не собирались уезжать из Бостона – господа Беляева и Винклер имели с Театром Лирической оперы контракты до конца сезона и должны были не менее одиннадцати раз выступить в «Густаве III», а Винклеру предстояло еще и трижды спеть Эскамильо в «народной», как тут говорили, постановке «Кармен» – под открытым небом в парке Линкольна.

Я не знаю, что делал Винклер в тот холодный день, когда снег валил с утра и только к полудню небо немного прояснилось, а что касается Тамары, то, вернувшись в свой номер в отеле «Плаза», она приняла ванну, выпила три чашки кофе, сознание ее, затуманенное допросом, несколько прояснилось, и она первым делом позвонила, естественно, в театр, где ей сказали, что пока премьеру не отменили, маэстро полагает, что и не отменяет, а уж как публика рвется на этот спектакль, вы себе не представляете, мисс, раскупили с утра не только приставные стулья, но готовы даже платить деньги за то, чтобы простоять весь вечер за креслами партера. Выяснив, что таки да, придется петь, Тамара стала звонить мне, но мой телефон не отвечал по причине, вполне, на мой взгляд, уважительной, а на взгляд Тома, неуместной, нелепой и недостойной – это она мне так сказала, когда в одиннадцатом часу я все-таки продрал глаза, включил мобильник, увидел восемнадцать неприятых звонков и, конечно, сразу перезвонил.

– Дорогая, – сказал я, не дожидаясь совершенно очевидного, на мой взгляд, вопроса, – у меня был трудный семинар, ты знаешь, потом мы с коллегами до двух ночи кое-что обсуждали, а потом я выключил аппарат, потому что хотел выспаться, но ведь у тебя все в порядке, извини, что не позвонил вечером, мы так заработались...

Все это я выпалил на одном дыхании и подумал, что сейчас Тома, как обычно, примется в подробностях рассказывать, как она пела, как пел Гастальдон, как хорош был Винклер и как чутко вел оркестр маэстро Лорд. Вместо этого в трубке сгустилась и будто каплей из крана повисла тишина, мне это не понравилось, и я собрался было спросить, неужели Гастальдон дал петуха в своей песенке из второго акта, но тут Тамара, наконец, собралась с мыслями и сказала на удивление четко, что, вообще говоря, было ей совсем не свойственно:

– Вчера во время прогона убили Густава. То есть Томмазо. Полиция думает, что это сделал Анкастрем. То есть Том. Весь вечер и ночь я провела в полиции, ты понимаешь? Меня отпустили утром, а ты все это время обсуждал какие-то свои теории, а потом дрых, и тебе даже в голову не пришло позвонить мне и справиться, все ли со мной в порядке.

– Стоп, – сказал я. – Повтори, я не расслышал. Где ты провела ночь?

– В полицейском участке, – отчетливо произнесла Тамара. – Ты не читал газет, не смотрел телевизор, не видел новости в интернете?

– Я спал, – пробормотал я. – Извини...

Три минуты спустя я мчался к лифту.

...Тамара стояла у окна, видела, как подъехало к центральному входу такси, я позвонил ей снизу после того, как расплатился с водителем, и, поднявшись на восьмой этаж, обнаружил дверь в ее номер распахнутой настежь.

– Господи, Андрюша, – сказала Тома, бросившись мне на грудь, как только я вошел и закрыл за собой дверь, – господи, как ужасно, господи, господи...

Номер 4. Речитатив

Все подробности ужасного вечера в Бостонской Лирической опере, кроме рассказанных Тamarой, я узнал сразу же, проглядев на Томином лэптопе десяток новостных сайтов. Были там и фотографии: Тома в платье Амелии сидит в большом кресле на фоне бутафорских колонн, Винклер с совершенно безумным, ничего не понимающим взглядом, стоит на авансцене, поддерживаемый под руки двумя копами, тело бедняги Гастальдона в нескольких ракурсах, и маэстро Лорд, и миссис дель Сесто, и старший инспектор Стадлер собственной персоной. А также пресловутый нож из папье-маше, убить которым можно было разве что муху или комара, да и то если шлепнуть не острием, а плоской боковой частью.

И еще я обратил внимание на сообщение из Стокгольма – оно прошло в новостях Евроньюс, и я решил поначалу, что это совпадение. А может, в Евроньюс – так я подумал – неправильно интерпретировали информацию с американских каналов.

«Странная смерть тенора», – гласил заголовок. И дальше: «Вчера, 17 февраля, во время генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в Шведском Национальном оперном театре произошел трагический случай, не получивший пока объяснения. В четвертом акте прямо на сцене был заколот исполнитель главной роли Ричарда известный тенор Ленарт Хоглунд (выступавший в прошлом сезоне в партиях Герцога, Тамино и дона Оттавио). Удивительно, что орудие убийства не было найдено. Бутафорский кинжал таким орудием быть не мог, но именно на нем полиция обнаружила пятна крови. Знаменитый баритон Андреа ди Кампо, исполнитель партии Ренато, не может дать объяснений, хотя именно в его руке был злополучный кинжал и именно он по роли должен был именно в тот момент нанести Ричарду смертельный удар в сердце».

Совпадение оказалось еще более удивительным, когда я подключился к сайту шведского новостного агентства и выяснил, что Ричарда-Хоглунда убили в половине десятого вечера. Учитывая пятчасовую разницу во времени между Стокгольмом и Бостоном, из этого следовало, что оба убийства – практически одинаковых! – произошли практически одновременно.

Номер 5. Монолог

Два года назад Тамара уже пела в Бостоне Амелию, и тогда все обошлось без эксцессов, все было прекрасно – так прекрасно, как только может сложиться у малоизвестной певицы, впервые приглашенной из России в зарубежную постановку, впервые попавшей за границу и увидевшей мир таким, как его описывали ее более удачливые коллеги, уже прошедшие огонь критики, воду изнурительной работы на износ и медные трубы популярности.

Родом Тома из Нижнего Новгорода – в Штатах мало кто способен с ходу выговорить это длинное название, но все почему-то стараются и не хотят переходить на сокращенное «Нижний», как это принято в России. Впрочем, может, на самом деле родилась Тома и не в самом Нижнем, а где-то в пригородном поселке или деревне, сама она точно не знала или не хотела мне рассказывать, что тоже было возможно. Мы ужинали как-то в уютном кафе в квартале от оперы, и что-то потянуло нас обоих в тот вечер на сентиментальные воспоминания – о детстве, друзьях, родных...

«А ты знаешь, что я детдомовская?» – спросила Тома, глядя, как официант наливает в ее бокал красную, как кровь, «Тоскану».

Я не знал, конечно, откуда мне это знать? В газетах после премьеры «Бал-маскарада» писали о «замечательном русском сопрано» много всякого, хочешь верь, хочешь – нет, например, о том, что родители госпожи Беляевой рано покинули этот мир, поскольку отравились ужасным воздухом: промышленные загрязнения в Нижнем, оказывается, были такими, что рак у людей старше сорока становился неизбежен. Понятно, что этому я не верил, но ведь действительно – родителей у Тома не было, и про себя я решил, что они, возможно, умерли от рака, только вряд ли промышленные отходы могли быть тому непосредственной причиной.

«Нет, – сказал я, – откуда мне знать? Ты не рассказывала».

«Если бы это происходило в девятнадцатом веке, – продолжала Тома, – история выглядела бы ужасно романтической, совсем, как в романе Бальзака или Диккенса. Маленький пищащий сверток на пороге Дома ребенка в Нижнем. Никаких документов, ничего. Слава богу, на улице не зима, иначе я бы там и умерла – на пороге. Врачи определили, что было мне от двух до трех недель от роду. Вот...»

Она отпила из бокала, прикрыла глаза, вино было сладким и терпким, я такие не люблю, а Тома обожает, она сделала глоток и сказала: «Андрей...»

Мы тогда еще называли друг друга полными именами – Андрей и Тамара, – кажется, именно в тот вечер я впервые назвал ее Томой, Томочкой, а поцеловал... нет, не тогда, а пару вечеров спустя, когда провожал до отеля. Лил дождь, я держал зонт, порывы ветра вырывали рукоять у меня из рук, и струи все равно попадали то на мое лицо, то на ее, в какой-то момент мне пришлось повернуться, наши глаза оказались так близко, и наши губы... что-то произошло с нашими губами, они будто стали самостоятельными, как пресловутый Нос у Гоголя, и я только с удивлением следил, как ее губы приоткрылись, мои оказались тут как тут, а что было дальше, я не помню совершенно, потому что, когда пришел в себя, то обнаружил, что зонт куда-то улетел, оба мы вымокли до нитки, хотя до входа в отель было всего-то метров десять, и можно было, прежде чем начать целоваться, нырнуть под козырек...

«Андрей, – сказала Тамара, – это так ужасно... Детский дом... Я не хочу об этом вспоминать, и ты меня никогда не спрашивай, хорошо?»

«Да», – кивнул я, и Тамара, вопреки своим же словам, быстро, глотая слова, начала рассказывать именно о том, о чем вспоминать не хотела: как они жили десять девочек в одной комнате, и ни одной ночи не обходилось без того, чтобы кто-нибудь кому-нибудь не

устроивал гадость, причем никто ведь не думал, что устраивает именно гадость, они называли это шутками, игрой, но после таких шуток и игр Тамара плакала весь день, вздрагивала от каждого крика, забивалась в угол и сидела там, пока воспитательница Ирина Шумовна (наверно, ее отчество было каким-то другим, но называли ее всегда так, в глаза и за глаза) не брала ее за руку, выводила в центр круга, говорила «Дети, сейчас наша Тамарочка прочитает стишок», больно дергала Тома за волосы, и ей приходилось – нет, не стихи читать, которых она вовсе не знала, а громко произносить что-нибудь, все равно что, лишь бы был хоть какой-то смысл, а то и вовсе без смысла. Тома так и не узнала не только настоящего отчества Иры Шумовны, но и настоящего смысла той нелепой игры.

В детском доме Тома научилась умению постоять за себя, она и не знала, что за стенами идет совсем другая жизнь, многие дети скучали по родительской ласке, они попали сюда в таком возрасте, когда уже что-то помнили и понимали, а Тома ничего помнить не могла, разговоры о родителях ее утомляли. Порой к кому-то из детей приходили взрослые тети и дяди, и дети бросались им на руки, плакали и не хотели отпускать, а потом, иногда, очень редко, но бывало, уходили с новыми родителями, радостно и свысока глядя на оставшихся друзей и подруг. Тома смотрела на происходившее ритуальное действие с раздражением, ей казалось, что происходит что-то неестественное и даже неприличное.

«Я до сих пор не знаю, откуда во мне было такое равнодушие к ласке, – сказала Тома. – Меня никто никогда не ласкал, да, но я ведь должна была чувствовать, как это должно быть приятно. А я не чувствовала. Ничего».

Чувства пробудились в ней неожиданно, когда лет в десять – Тома училась в третьем или четвертом классе – в детском доме появилась новая учительница и новый предмет: пение.

«Мы не пели, конечно, – рассказывала Тома, – слуха не было почти ни у кого, и Ольга Степановна это поняла сразу. Сначала она включала нам пластинки, не громко, чтобы не мешать другим классам. Советские песни, Алла Пугачева была на пике карьеры, и я уж не помню, сколько мы ее слушали, я все песни и сейчас наизусть знаю, а потом Ольга Степановна как-то на уроке стала напевать под пластинку, и оказалось, что у нее красивый низкий голос, я тогда не знала, что это контральто, но голос меня покорило. В тот же вечер я принялась распевать сама, и мне показалось, что это такое счастье! На следующем уроке я начала подпевать Ольге Степановне, когда она запела под пластинку, и тогда... Я почему-то не помню именно этого момента, такое впечатление, что чувства, ощущения вышли из берегов, затопили меня всю, в том числе и те участки мозга, которые отвечают за память. Что мне сказала Ольга Степановна? Что сделала? Помню, как мы с ней сидели после уроков в спортзале, там стояло старое пианино, на нем играли, если это можно назвать игрой, во время официальных вечеров или утренников, и звук у него был такой противный... Все равно, это не имело значения. Она играла и пела, кажется, это была песня Любаша из «Хованщины». То есть это потом мне стало так казаться, когда я уже знала, кто такая Любаша, а тогда мелодия и голос привели меня в такой экстаз, что я разревелась, и меня долго не могли успокоить, даже к врачу отвели, а Ольге Степановне строго запретили мучить меня этой дурацкой музыкой. Я запомнила, как эту фразу произнесла директриса, но Ольга Степановна, слава богу, ее не послушала и пела мне постоянно. Мы обе пели...»

Тома могла бы, наверно, рассказывать не один вечер. Я знаю, как это бывает: ты закрыт, ты вещь в себе, и память твоя, как запертая шкатулка, куда ты и сам никогда не заглядываешь, но однажды, может, совершенно случайно, от какого-то сотрясения крышка открывается, и все содержимое памяти, все, что ты даже от себя держал в секрете, вываливается наружу, и ты больше не можешь этого удержать, как не можешь удержать вскипевшее в открытой кастрюльке молоко, и говоришь, говоришь, не можешь остановиться...

В тот вечер мы ушли из кафе, когда официант положил передо мной счет и твердо сказал: «Извините, мистер, мы закрываемся».

В тот вечер я твердо решил, что непременно женюсь на этой женщине, хотя точно знал, что никогда не смогу сделать ей предложение, у меня просто не хватит для этого смелости, потому что она... а я...

Глупо, конечно. Но я и чувствовал себя предельно глупо, мне казалось верхом собственного нахальства уже то, что я не постеснялся после спектакля явиться в гримерную певицы Беляевой с букетом цветов, отстоять долгую очередь «поклонников ее незаурядного таланта» (это не мои слова, так писали бостонские газеты), а потом пробормотать что-то банальное («вы так пели, ваша Амелия...») и неожиданно для себя попросить о встрече в любое удобное для нее время в любом удобном для нее месте. «Но я...» – сказала она, а я, ничего уже не соображая, кроме того, что жить не смогу, если не увижу ее еще раз, воскликнул: «Ничего личного, уверяю вас! Хочу поговорить об опере! Только об опере!» Должно быть, ее удивила моя непосредственность, а может, Тома уже в тот момент почувствовала нечто этакое... необъяснимое и неопишное... «Хорошо, – сказала она, и, кажется, так же, как и я, поразились собственным словам, – хорошо, завтра в два в баре отеля «Плаза».

Так мы познакомились. Было это два года назад, после премьеры оперы Верди «Бал-маскарад» в театре Бостонской Лирической оперы. Дату эту я точно помню: 10 апреля 2007 года. Тогда маэстро Лорд и приглашенный из Италии режиссер Франческо Лукетти поставили классический вариант спектакля: восемнадцатый век, Бостон, городское кладбище, которого давно нет, зал генерал-губернатора Варвика... Традиционная постановка, пышные декорации и умеренный успех. Аплодисменты сорвали только двое: русская певица Тамара Беляева и итальянский баритон Вериано Грасео. На мой взгляд, Грасео надо было забросать тухлыми яйцами – в сцене со жребием он умудрился так поднести Амелии вазу с набросанными туда бумажками, что все они высыпались, пришлось поднимать их с пола, и вердиевский трагизм этой потрясающей сцены пошел насмарку...

Номер 6. Речитатив и терцет

– Так кто же его убил? – задал я дурацкий вопрос после того, как Тамара, перескакивая с пятого на десятое, рассказала о вчерашнем кошмаре, а в интернете я нашел впечатляющие к этому рассказу иллюстрации.

– Бутафорским кинжалом его убить не могли, – продолжал я рассуждать, а Тома меня не слушала, она сидела в своем любимом кресле напротив окна и, по-моему, думала только о том, как в таком состоянии петь премьеру. – Но где орудие убийства? Очевидно, тот, кто убил Гастальдона, унес кинжал и спрятал в театре, ведь из здания, как ты говорила, никого не выпускали, а всех вас, включая оркестрантов, обыскали достаточно тщательно, верно?

Вопросы были риторическими, Тамара даже головы не повернула.

– Послушай, Тома, – сказал я, – если тебе вечером петь, то хорошо бы развеяться и отвлечься от вчерашнего. Давай съездим...

– Нет, Андрюша, – Тамара говорила медленно, выговаривая каждое слово так, будто записывала на магнитофон и думала, что тот, кто станет прослушивать запись, не должен иметь трудностей в понимании текста, – если Дженис не отменила спектакль, мне нужно работать. У меня горло зажато. Я хриплю, понимаешь, никакой кантилены. Я все провалю!

– Глупости, – сказал я уверенно. – Давай просто спустимся в лобби, выпьем по чашке кофе.

– Ты с ума сошел? Только кофе мне сейчас не хватало!

– Молоко? Я закажу в номер.

Тамара всегда выпивала стакан молока перед спектаклем и почти ничего не ела.

– Хорошо, – сказала она и добавила: – Ты мог бы позвонить в театр и узнать, будет ли петь Том? Мне почему-то страшно самой ему звонить...

– Конечно, – кивнул я и набрал знакомый номер. Автоответчик красивым женским голосом (это был голос миссис Луизы, работавшей билетершей с момента основания театра, вот уже сорок с лишним лет) объяснил, что намеченная премьера оперы Джузеппе Верди «Густав Третий» состоится, объявленный ранее состав действующих лиц не изменился за одним исключением – партию шведского короля Густава исполнит Николас Стефаниос, вход в зрительный зал будет открыт с девятнадцати часов тридцати минут.

– Они вызвали Николаса, – сообщил я Тамаре. Стефаниос должен был петь Густава во втором составе в субботу. Это был маленький человечек, суетливый, как хомяк, очень завистливый, да и голос его, на мой взгляд, оставлял желать лучшего, особенно в среднем регистре, где обычно тенора как раз сильнее всего. Гастальдону Стефаниос завидовал со всей своей греческой страстью и не думал этого скрывать, со слов Тома я знал, что он мог бы и убить соперника, но наверняка этого не сделал – вчера Стефаниос в Филадельфии пел Арлекина в «Паяцах». Небольшая партия, но торчать на сцене Арлекин должен на протяжении практически всей оперы, никак не мог Стефаниос отлучиться на несколько часов, приехать в Бостон, явиться на репетицию... нет, глупость все это.

– Николаса, – повторила Тамара и не стала комментировать. Неприятно. Она не любила петь со Стефаниосом, но в театре никогда этого не показывала, Николас наверняка был убежден в том, что русская примадонна просто обожает их редкие, но эмоциональные дуэты. – Значит, ничего не отменили...

Зазвонил телефон, и Тамара показала мне взглядом, чтобы я поднял трубку.

– Мисс Беляев у себя? – спросил портень.

– Да, – сказал я.

– К ней посетители, я могу их пропустить?

– Кто такие? – недовольно сказал я, а Тамара, поняв, о чем идет разговор, отрицательно покачала головой. – Мисс Беляев занята, у нее вечером спектакль.

– Это старший инспектор Стадлер и с ним двое... я не знаю их должностей... Боюсь, что... Они уже поднимаются, сэр, извините.

– Стадлер, – сказал я, положив трубку. – Это тот тип, что мучил тебя вчера?

– Господи, – вздохнула Тамара. – Что ему еще надо?

Надо ему было не так уж много – чтобы Тома подписала протокол допроса, внимательно прочитав каждую страницу, вот так, и здесь тоже, мисс, я хочу извиниться за то, что вам пришлось... но вы должны понимать, это наша работа... и еще, если не трудно, два-три вопроса, кстати, кто этот молодой человек?

– Это Андрей Бочкарев, – прервала Тамара, – мой друг, и я хотела бы, чтобы он остался.

– Друг, – понимающе кивнул полицейский, и мне захотелось вlepить ему звонкую пощечину, как это было принято в подобных случаях в приличном обществе девятнадцатого века. Потом наверняка последовала бы дуэль с очевидным исходом – он или заколол бы меня шпагой или пристрелил из пистолета, это очевидно, но по морде я ему все-таки дал бы. В девятнадцатом веке. А сейчас...

– Хорошо, пусть останется, – разрешил Стадлер. В номер он вошел один, своих помощников оставил, видимо, за дверью – сторожить, чтобы Тома не сбежала? – У вас есть какое-нибудь удостоверение, сэр?

Я показал водительские права и, чтобы ему все было ясно относительно моей профессии, пропуск на территорию лабораторного корпуса Бостонского университета. Документы Стадлер вернул без комментариев, едва на них взглянув (я почему-то решил, что у старшего инспектора фотографическая память, и он не только запомнил с одного взгляда мою фамилию, не такую уж простую для американского произношения, но и все сведения о моей работе, включая идентификационный номер в лаборатории теоретической физики), и сказал, глядя в пространство между мной и Тамарой:

– Не стану вам докучать, мисс. Вы уже пришли в себя... гм... Вы понимаете, мы ищем нож. Настоящий, которым... Пожалуйста, мисс, я ведь не сказал ничего такого, чего бы... Вы не могли бы сосредоточиться и вспомнить буквально по секундам? Вы должны были что-то видеть. Да, я уже сто раз спрашивал вчера, но... Скажем, в одной руке господина Винклера был нож бутафорский, а в другой... Кстати, в какой руке он держал нож, которым заколол господина Гастальдона?

Вопрос был с очевидной подковыркой, Тома не могла этого не понимать, но я все-таки сделал предостерегающий жест, на который старший инспектор сразу обратил внимание и укоризненно покачал головой.

– Заколол... – пробормотала Тамара. – Никого он не мог заколоть этим...

– Да-да, – отступил Стадлер, – я имею в виду, заколол по сценарию... либретто, как это у вас называется.

– В правой, – решительно сказала Тома. – Мы много раз репетировали эту сцену, Томмазо стоял передо мной, чуть справа, я была спиной к залу, а Том... Винклер выходил из-за группы хористов, значит, тоже справа от меня, и правой рукой...

– Точно правой?

– А что, – не удержался я от вопроса, – вы смогли доказать, что удар был нанесен левой рукой?

Стадлер повернулся ко мне и внимательно оглядел с ног до головы, будто только теперь сравнивая мою личность с фотографией на документе.

– Вы физик? – спросил он. Я кивнул. – Да, знаете... Наклон и направление... Удар, скорее всего, нанесен был левой рукой, причем... Этот человек, убийца, ростом был ниже Винклера. Примерно как вы.

Тамара вскрикнула и прижала руки к щекам.

– Вам это что-то напомнило, мисс? – быстро спросил Стадлер. – Говорите сразу, не задумываясь. Кого? Что?

– Нет, – пробормотала Тамара, и я, конечно, понял, что пришло ей в голову. Николас. Низкорослый левша Николас, вполне способный убить мать родную, лишь бы получить главную роль на премьере. Чепуха, и Тома это прекрасно понимала. – Нет, просто... удивительно.

– Удивительно, – кивнул Стадлер. – Я вам так подробно рассказываю, потому что все равно это будет в вечерних газетах, вы же знаете журналистов, они из меня это вытрясли.

Он дернул плечом, но не стал развивать тему об акулах пера, мешающих работе городской полиции.

– Если вам что-то пришло в голову, мисс, то, надеюсь, рано или поздно вы мне об этом скажете. Да, так мой второй вопрос, на который вы не ответили: держал ли мистер Винклер что-нибудь в левой руке?

– Я... нет, ничего. Не знаю. На Анкастреме был длинный черный плащ, и левая рука... он держал ее под плащом, и я никак не могла видеть...

– Держал под плащом, – задумчиво повторил Стадлер. – Но ведь если бы он взмахнул левой рукой, вы могли это заметить.

– Он не махал левой рукой! – воскликнула Тамара.

– Вы уверены? Это важно.

– Послушайте, офицер, – опять не удержался я от замечания, – там, кроме Тамары... госпожи Беляев... было человек двадцать хористов.

– Женщины, – кивнул Стадлер с таким видом, будто женщина-свидетель есть существо, не способное заметить ничего, кроме фасона платья или формы серег.

– Женщины-хористки, – повторил я. – Их-то вы спрашивали? И если хотя бы одна обратила внимание на то, что Анкастрем... Винклер что-то делал левой рукой...

– Никто, – сказал Стадлер, – никто не обратил внимания. Эти дамы вообще на Винклера не смотрели, он им сто лет не нужен, все его движения они знали наизусть и потому следили только за дирижером, чтобы вовремя вступить.

– Да, – сказала Тамара, – это верно, там для хора сложное вступление, надо быть очень внимательными.

– Послушайте, офицер, – я давно хотел задать вопрос, еще тогда, когда Стадлер попросил у меня документы, и сейчас, решив, что разговор пойдет по второму кругу, спросил, наклонившись вперед, чтобы видеть, как отреагирует старший инспектор на мою, скорее всего, не известную ему, информацию, – послушайте, вы, конечно, знаете, что тогда же, когда был убит Гастальдон, в Стокгольме при аналогичных обстоятельствах убили тенора Хоглунда? Кстати, во время генеральной репетиции той же оперы Верди. Правда, в Стокгольме, в отличие от Бостона, ставили классический вариант – не «Густава», а «Бал-маскарад».

Стадлер медленно поднял взгляд и уставился на меня так, будто я сообщил ему о втором пришествии или, как минимум, о новом нападении исламских террористов на небоскребы Манхэттена. Я подумал, что старший инспектор обладает телепатическими способностями и именно таким образом собирается получить у меня дополнительную информацию о происшествии в Стокгольме. Тома, вероятно, тоже не спускала с меня глаз, могу себе представить, как ее поразило это сообщение, но я-то в ее сторону не смотрел, я играл со старшим инспектором в гляделки и, должен признать, результат оказался не в мою пользу. Я не выдерживаю, когда не понимаю смысла послания, содержащегося в направленном на меня взгляде. Или смысла вопроса. Или вообще смысла.

Я опустил взгляд, и Стадлер тут же спросил:

– Откуда вам это известно?

– А почему это неизвестно вам? – удивился я. – В полицейских хрониках наверняка отмечено...

– Я не имел возможности в последние часы заниматься просмотром хроники, – раздраженно сказал Стадлер. – Вы можете ответить на мой вопрос?

– Конечно. Об этом пишут все новостные европейские сайты. Давайте, покажу.

Я спросил взглядом разрешения у Тома и, сев рядом со Стадлером, положил лэптоп себе на колени. Тома что-то бормотала и, кажется, тихо плакала, утешать ее я все еще не научился, да и не так много за время нашего знакомства случилось событий, вызвавших у нее слезы. Я вошел в новостной сайт Associated Press, топ-заголовки ничего о трагедии в Стокгольме не сообщали, пришлось опуститься до вчерашних вечерних... вот, пожалуйста, я кивнул Стадлеру и повернул лэптоп так, чтобы нам обоим было удобно читать с экрана.

– Поразительно, – пробормотал старший инспектор. – Какая у нас с ними разница во времени?

– Пять часов, – подсказал я.

– Когда у них половина десятого, у нас половина пятого.

– Здесь время указано приблизительно, – сказал я, чувствуя, как инициатива переходит в мои руки, теперь я задавал вопросы и направление расследования – ненадолго, конечно, но все-таки... приятное ощущение. – Но по своим каналам вы легко можете получить нужную информацию. И если окажется, что оба убийства произошли не только при одинаковых обстоятельствах, но и физически в одно и то же время...

– Чушь, – сказал Стадлер. – Что вы мне голову морочите, Бочкариофф или как вас там? Не мог один и тот же убийца в одно время оказаться в двух разных городах!

– Господи! – в изумлении воскликнул я. – Мне и в голову не пришло бы убеждать вас в такой чепухе. Конечно, разные убийцы. Но вы не можете расследовать смерть Гастальдона, не приняв во внимание убийство в Стокгольме. Не бывает таких совпадений! Значит, прямая связь. Двое убийц, но один мотив. Договоренность. План действий. Не знаю – это ваша работа. Я хочу сказать, что госпожа Беляева – и вы легко это проверите у любого оперного агента, да хоть в компьютерной картотеке нашей Лирической оперы, – никогда не была в Стокгольме, никогда не пела ни с Хоглундом, ни с ди Кампо...

– Ди Кампо? – нахмурился Стадлер.

– Вы же только что читали! Это исполнитель партии Ренато в шведской постановке «Бал-маскарада».

– Послушайте, – старший инспектор переводил взгляд с меня на Тому и обращался, видимо, к нам обоим, скорее даже к ней, поскольку вообразил, что я, будучи физиком, а не музыкальным критиком, смыслю в опере гораздо меньше примадонны, – послушайте, вы сказали, что это один и тот же спектакль. Я чего-то не понял? Композитор один, согласен, но названия разные. Там что, одинаковые мизансцены в финале?

– Это одна и та же опера, господин Стадлер, – сказал я. – В том-то самое удивительное. Долгая история на самом деле, но если в двух словах... В одна тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году Верди, после того, как закончил переделывать «Стиффелио» – новую версию он назвал «Арольдо», – искал сюжет для следующей оперы...

– Послушайте, господин Бочкариофф, – раздраженно сказал старший инспектор, – у меня нет времени выслушивать ваши музыковедческие истории.

– Но это важно! – Я повысил голос. – Пять минут, и вы сами поймете, насколько это важно для вашего, черт побери, расследования!

– Ну, – коротко бросил Стадлер.

– Так вот, после премьеры «Арольдо» Верди искал пьесу, которую мог бы переложить на музыку для неаполитанского театра «Сан Карло». Опера должна была быть представлена

в карнавальном сезоне следующего года. В поисках темы Верди перечитал огромное количество всякого хлама, и тут на глаза ему попала пьеса французского драматурга Эжена Скриба «Густав III, или Месть в домино». Сюжет показался Верди увлекательным, но...

– Нельзя ли короче? Вы уже потеряли минуту из пяти.

– Не будете перебивать – будет короче. Так я о чем? Да... Увлекательный сюжет – придворные интриги, пророчество, любовь, ревность, убийство на балу – все, что требуется, чтобы публика с замиранием сердца...

– Господи! – Стадлер хлопнул по колену ладонью.

– ...с замиранием следила за действием. Но на этот сюжет в тридцать шестом году французский композитор Обер уже написал оперу, и она с успехом шла в течение нескольких сезонов. К тому же, у Верди не было либреттиста. Франческо Пьяве, который написал для Верди «Риголетто», «Травиату»...

– Может, вы избавите меня от итальянских названий и имен? Они имеют к делу хоть какое-то отношение?

– Имеют. Пьяве был болен и не мог работать. Тогда в сентябре пятьдесят седьмого года Верди, будучи в Венеции, где он присутствовал на премьере «Симона Бокканегры», обратился к Антонио Сомма, адвокату, который настолько не любил свою практику, что большую часть времени проводил в опере, а не в своей конторе. Он даже как-то писал водевили, и они шли в нескольких театрах с умеренным, надо сказать, успехом. Сомма писал для Верди либретто на сюжет «Короля Лира», но эта опера так и не появилась на свет...

– И это замечательно, – сказал Стадлер, передал мне лэптоп и встал. – Доскажете вашу интереснейшую историю как-нибудь в другой раз. Спасибо, господин Бочкариофф, за то, что обратили мое внимание на убийство в Стокгольме. Не думаю, однако, что между двумя этими преступлениями существует какая-то связь. Предполагать какой-то всемирный заговор против оперных теноров... Несерьезно, верно? Балаган. И успокойтесь – я вижу, вы готовы землю рыть, лишь бы доказать мне, что госпожа Беляев не имеет к убийству Гастальдона никакого отношения, – но я ее... вас, мисс Беляев... ни в чем и не обвиняю. Жаль, что вы так мало видели. Ну, что поделаешь... Не буду больше вам мешать, у вас ведь сегодня премьера.

– Странно, – сказал я, тоже поднявшись и стоя на пути старшего инспектора к двери. Я вовсе не собирался загромождать ему дорогу, но почему-то именно сейчас не хотелось, чтобы он ушел, не дослушав. Что-то наверняка было в этом, уверен, не случайном совпадении двух убийств, а понять, что именно, я мог, я точно знал, что мог, но для этого нужно было думать и, как ни странно, говорить, говорить, мне всегда думалось лучше, когда я говорил, может, и чепуху, но именно тогда в голове рождались правильные мысли, которые я сразу и выбалтывал. На семинарах это производило впечатление, многие говорили мне, что поражаются стилем работы моего воображения, но именно так оно работало, а сейчас этот полицейский сбил меня с мысли, прервал слова...

– Странно, – повторил я, поймав мысль, не нужную на самом деле, но оказавшуюся ближе прочих к поверхности сознания, – что полиция не запретила премьеру.

– А почему надо было запрещать? – удивился Стадлер, будто не сам он вчера пытался сделать именно это. – За ночь были опрошены и обысканы все, кто был на сцене в момент убийства. И оркестранты. Вообще-то я ни минуты не спал, просто валюсь с ног. Театр тоже весь обыскали, от чердака до подвала, это была адская... Неважно.

– Нож вы не нашли, – резюмировал я.

– Если бы вы внимательнее читали новости на американских сайтах, – поразил меня Стадлер моим же оружием, – то знали бы: нет, не нашли. Журналисты смакуют это обстоятельство, будто не представляют, как искать иголку в стоге сена.

Он пожал плечами, кивнул Томе, сидевшей с закрытыми глазами и не увидевшей поданного ей знака прощания, и обошел меня, как обходят лежащую на земле готовую взорваться гранату.

– Жаль, – сказал я, – что вы не захотели послушать, как Верди и Сомма сочиняли оперу. Это вам очень пригодилось бы в расследовании.

Инспектор бросил на меня через плечо недоуменный взгляд и вышел, не очень громко, но все-таки хлопнув дверью.

Номер 7. Терцет

Воздух был неподвижным, тяжелым и густым, дышалось тяжело, будто после подъема на высокий холм. Даже в тени было жарко, и липкий пот стекал на брови, будто на железный карниз покатой крыши.

Официант, всем видом показывая, что только совсем ненормальные могут выходить из дома в такую жару, принес три больших стакана с напитком, в меню названным «Летняя прохлада», но среди завсегдатаев заведения получившим имя «Холод любви». Почему эта розовая пенящаяся и действительно холодная жидкость ассоциировалась с остывшей любовной страстью, не знал, похоже, никто – во всяком случае, Сомма на вопрос маэстро ответить не смог, а Джузеппина заметила, что по вкусу лимонад скорее напоминает домашний компот ее детства, и это так замечательно, что она с удовольствием выпьет еще стакан, не сразу, конечно, а чуть позже.

– Да-да, – рассеянно сказал Верди, глядя, как на противоположном берегу канала жирные голуби дерутся из-за невидимой отсюда добычи – может, хлебной корки, а может, куска прогнившего мяса, выброшенного из окна трехэтажного палаццо. – Возьми мой стакан, дорогая, я не хочу пить.

– Надо пить, Верди, – убежденно сказала Джузеппина. – В такую жару надо пить очень много жидкости.

– Да-да, – повторил Верди и, пододвинув к Джузеппине свой стакан, продолжил мысль, которую начал развивать по дороге к этой маленькой и уютной площади. – Послушайте, дорогой Сомма, я совсем не хочу ограничивать вашу поэтическую фантазию, но поймите и вы меня: то, что годится для театральной драмы, совсем порой не подходит для оперы, и вовсе не потому, что композитор не способен переложить на музыку тот или иной эпизод. Уверю вас, на музыку можно переложить все, даже вопли этих несносных голубей. Нет-нет, дело не в этом. Причина в том, что эффектное в драме, вызывающее слезы на глазах, может оказаться совершенно не потрясающим воображение, если то же самое пропеть самым лучшим в мире голосом. Человеческое ухо по-разному воспринимает слово произнесенное и слово пропетое.

– Разве я с этим спорю? – Сомма отпивал из своего стакана мелкими глоточками, то ли стараясь растянуть удовольствие, то ли просто не замечая, что пьет. – Но, согласитесь, маэстро, если изъять из дуэта финальную стретту, отрывок будет выглядеть незаконченным, как... – он огляделся по сторонам и кивнул в сторону купола, возвышавшегося над крышами соседних домов, – как вот этот несчастный собор, который строят уже полтора века и никак не доведут до совершенства.

– Стретта! – презрительно сказал Верди. – Скажите, синьор Антонио, откуда эта страсть к громким и быстрым финалам, эта наша итальянская стремительность и желание поставить точку там, где необходимо даже не многоточие, а какой-то другой грамматический знак, вроде музыкального *legato*? И не говорите мне, что я сам... Господи, чего я только не писал в молодости! Даже в «Травиате», где бравурные аккорды так же к месту, как крики в церкви, я написал для Альфреда эту самую стретту, и хорошо, что многие певцы, как мне говорили, ее сейчас не исполняют – она кажется им трудной, а на самом деле музыкальное чутье подсказывает им, что стретта там попросту неуместна! Как эта жара. Выпей еще, Пеппина, выпей, тебе нужно, а я закажу себе... если захочу.

– Ну, хорошо, – Сомма достал из кармана аккуратно сложенный платок и вытер потную шею, – допустим. Я сокращаю. Согласен. То есть не согласен, но делаю так, как вы хотите, маэстро. Как же, скажите, закончится дуэт? Должно быть что-то определенное, какое-то

решение, а без стретты остается ощущение, будто все повисает – недосказанное, недопетое...

– Вот именно, дорогой Сомма! – воскликнул Верди. – Вы лучше меня определили то, что мне надо. Недосказанное. Недопетое. Именно! Ничего не решено, понимаете? Ничего и не может быть решено. То, чего они оба хотят – и Густав, и Амелия, – невозможно, оба они это понимают, для них эта встреча, скорее всего, последняя, и они делают вид... каждый для себя, но и для другого тоже... что много таких встреч у них впереди, и значит, нет конца, нет завершенности. Вы понимаете?

– Хм... Да. Хорошо. Я сниму три строфы, хотя...

– Это замечательные стихи, – мягко произнес Верди, – я знаю, сколько страсти вы в них вложили. Но...

– Да. Хорошо. Хватит об этом. Но с тем, чтобы в финале четвертого акта добавить строфу в ансамбле, я не согласен решительно. Я буду настаивать...

– И тут, дорогой Сомма, вы одержите надо мной быструю и безоговорочную победу, – усмехнулся Верди, – поскольку, конечно же, эта строфа была бы лишней, и я сказал вам о ней потому лишь, что знал, как вы станете сопротивляться, когда я потребую исключить стретту. Должен был я оставить и вам ощущение одержанной победы, верно?

– Ты великий стратег, мой Верди, – улыбнулась Джузеппина. – Синьор Антонио, вы знаете, как он обычно добивается своего – не в музыке, а дома? Он долго и громко спорит, мы оба готовы выйти из себя, и тут он предлагает мне сделать нечто такое, что я уже давно хотела, и на этом спор заканчивается, потому что... ну разве я могу не ответить уступкой на уступку?

– Вот не думал, что маэстро такой мастер компромиссов, – сказал Сомма.

– Я не мастер компромиссов, – отрезал Верди. – Разве я сейчас пошел на компромисс? Вы, дорогой Сомма, приняли мое требование относительно стретты, а я, в качестве компенсации, не буду писать финал, который и раньше казался мне лишним.

Сомма громко захохотал и подал появившемуся в дверях кафе официанту знак принести еще по стакану замечательного прохладительного, как бы оно на самом деле ни называлось.

– Странно складывается жизнь, – задумчиво произнес Сомма, вертя в руке пустой стакан и переводя взгляд с Верди на Джузеппину. – Я говорил вам когда-нибудь, что с детства терпеть не мог оперу?

– Нет, – сказала Джузеппина, – мне, по крайней мере... Может, тебе, Верди?

Верди покачал головой: нет, он тоже слышал об этом впервые. Он вообще не любил расспрашивать, его не то чтобы не интересовало чужое прошлое, он и о своем вспоминать не любил и мог себе представить, что в жизни собеседника тоже было достаточно моментов, о которых тот не хотел говорить, а в разговорах всегда есть опасность коснуться тем, не очень для собеседника приятных.

– Да-да, – продолжал Сомма, – впервые я попал в оперу, когда в Падуе, где я учился на юридическом факультете, поставили «Паризину» Доницетти. Я сам написал пьесу с таким названием, она шла в нашем студенческом театре... И я, конечно, не мог не пойти послушать оперу на мой... вы представляете, я был убежден, что это действительно мой и ничей больше сюжет! Может, поэтому мне совершенно не понравилось. Музыка мешала. Я дал себе слово никогда больше не ходить в оперу!

– Странное решение для итальянца, не правда ли? – улыбнулась Джузеппина.

– Ну что ты, – снисходительно сказал Верди, – тебя сбивают с толку переполненные залы в «Скала» и «Ла Фениче», но ведь девять из десяти простолудинов никогда не бывали в опере, не слышали ни одной ноты из «Трубадура» и даже «Цирюльника»...

– Ты меня поражаешь, Верди! – сердито воскликнула Джузеппина и продолжала, обращаясь к Сомма: – Он всегда выдвигает парадоксы, потому с ним так трудно! Итальянцы не знают оперы!

– Нет-нет, – перебил Верди. – Я ведь не это сказал, дорогая. Естественно, песенку Герцога знает даже самый невежественный пастух из Калабрии, я сам слышал, как на одном из пастбищ... Впрочем, я не о том. Но в опере он не был, мелодию ему напел приятель, который подхватил ее, услышав, как играл бродячий шарманщик, но и тот никогда не переступал порога театра, а знает популярную мелодию от знакомого, а тот от своего, и вот он-то действительно слышал оперу сам. Мы, итальянцы, очень любим петь, верно, мелодия – наша жизнь, но опера, к сожалению, так и не стала народным искусством, как ни горько в этом признаваться.

– Не стала народным искусством? – возмутилась Джузеппина.

– И не спорь, дорогая, – Верди положил ей на ладонь свою руку. Темное и грубое на светлое и нежное. «Он действительно больше крестьянин, чем музыкант», – подумал Сомма, глядя, как рука Верди сжимает и гладит пальцы Джузеппины. – Не спорь. Я всего лишь хочу сказать, что наш дорогой синьор Антонио вовсе не исключение, а скорее правило. Да о чем говорить, Пеппина? Мой родной отец и моя любимая матушка! Имея сына-композитора!

– Всемирно известного, – вставил Сомма, но Верди не обратил на реплику внимания.

– Они были в театре всего один раз, когда я чуть ли не силком привез их в Милан на премьеру «Жанны д'Арк», да и тогда отец пытался сбежать после второго акта, сказав, что не привык к такому шуму, и матушка едва уговорила его остаться. Как бы то ни было, они досидели до конца, а потом их привели ко мне за кулисы, и я помню, как отец ругал большой барабан, из-за которого у него чуть не лопнули перепонки. Нет, Пеппина, я могу понять синьора Антонио, особенно если речь идет о театре в Падуе, где никогда не было приличного оркестра, а хористов набирали из окрестных ремесленников, многие из которых даже нот толком не знали и пели на слух. Бедный Доницетти! Бедная «Паризина»!

– И бедный Антонио, добавьте к тому, маэстро!

– И бедный синьор Антонио! – Верди неожиданно стал серьезным, убрал свою руку с руки Джузеппины и сказал: – Но ведь не я к вам, а вы ко мне подошли тогда, на пьядцо. Я вас не знал и даже не слышал вашего имени.

– Откуда было вам его слышать? – удивился Сомма.

– Да-да. Вы подошли ко мне...

– В компании с Лукетти и синьорой Маффеи.

– Да-да, и Кларина, которую я очень ценю за ее живой ум и преданность нашей несчастной родине, сказала: «Позвольте представить вам синьора Антонио Сомма, он адвокат и ваш преданный поклонник». Но вы им не были, верно? Вы вели в суде тяжбу Кларины с семейством Гараванди...

– О праве на недвижимость.

– Но в то время вы еще не слышали ни одной моей ноты!

– Ну что вы, слышал, конечно! Вы полагаете, маэстро, что можно прожить в Италии почти полвека и не слышать ни одной ноты Верди?

– От уличных певцов, столь же громкоголосых, сколь и фальшивящих!

– Знаете, маэстро, сейчас я вам, пожалуй, кое в чем признаюсь. Синьора Джузеппина, будьте свидетельницей моей чистосердечной явки с повинной. Я был в «Фениче» на «Травياته» и «Бокканегре», я слышал «Риголетто» в «Скала» еще шесть лет назад, и вы не станете отрицать, что я слышал «Арольдо».

– «Арольдо» вы слушали уже после нашего знакомства, – рассмеялся Верди. – Но вы... Я поражен. Я думал...

– И должен признаться еще, – продолжал Сомма, с удовлетворением наблюдая за смущением маэстро, – я слушал эту божественную музыку...

– Ну-ну, – пробурчал Верди, нахмурившись.

– Но видел, как распадается в «Бокканегре» сцена дожа и его дочери – драматургически вторая часть выпадает, как тяжелый камень из слабой руки.

– Милое сравнение, – сказал Верди, – я поражен.

– Чем, маэстро?

– Тем, что вы обратили на это внимание! Черт возьми, синьор Антонио! Я так и не сумел заставить Пьяве... Нет, это не то слово: заставить я мог его сделать все, что угодно. Кроме одного, к сожалению. Франческо хороший поэт... уверяю вас, ничего сверхъестественного я от него не требовал, но выше головы не прыгнешь...

– Верди, – с упреком проговорила Джузеппина, – напрасно ты так о нем. Ты же знаешь...

– Да, – Верди прервал сам себя, сцепил пальцы и приблизил к глазам, будто держал в них что-то и хотел рассмотреть поближе. – Пьяве болен, боюсь, дни его сочтены. Это ужасно. Извините, синьор Антонио, извините!

Сомма с изумлением увидел, как покраснели у Верди глаза и дернулся уголок рта. Он совсем не предполагал, что этот человек, казавшийся ему жестким, как скошенная трава на лугу в Сант-Агате, и непреклонным, как колокольня на площади Сан Марко, мог так взволноваться, вспомнив о друге, лежавшем сейчас в своем доме во Флоренции и, возможно, именно в эти минуты прощавшемся с миром.

Джузеппина, гораздо лучше, чем Сомма, зная своего Верди, отвернулась, она не выносила минуты его слабости, потому что потом, взяв себя в руки, он становился ворчливым, ко всему придирался, хотя на самом деле злился только на себя.

– Да, – сказал Верди, справившись с эмоциями, – я только хотел сказать, синьор Антонио, что финал все-таки придется переделать. Музыку я себе примерно представляю, и ваши стихи – они замечательны, спору нет! – на эту музыку не ложатся.

– Хорошо, – согласился Сомма, – две строфы перед финальной кодой я заменю. Какой ритм вам нужен, маэстро?

– Вот это другой разговор! – воскликнул Верди. – Ты слышишь, Пеппина? Какой ритм, спрашиваете? Я объясню вам! Это должен быть марш на две четверти, короткий, как лезвие кинжала. Раз-два, раз-два...

– Раз-два, – повторил Сомма, и строчки, как это с ним обычно бывало, появились перед его глазами, будто написанные чьим-то размашистым почерком на светлом фоне. – Да, вот так: «А теперь вместе мы, не робея, кровожадного свергнем злодея...»

– Кровожадного свергнем злодея! – воскликнул Верди. – Так, дорогой Сомма! И еще три строки, только три. Свергнем злодея. То, что надо. Свергнем злодея! Пеппина, здесь так жарко, у меня пот течет по спине, я хочу домой.

– Ты хочешь записать мелодию, – мягко сказала Джузеппина, вставая.

Мужчины тоже поднялись, Верди бросил на стол два дуката, официант, не дожидаясь, когда посетители уйдут, принялся убирать стаканы, он был недоволен, господа сидели битый час и ничего не съели, только выпили шесть стаканов прохладительного, конечно, жара, кто спорит, но могли бы – не бедные, видно по одежде – заказать и что-нибудь основательное, а то сидели и спорили, особенно этот, похожий на... «Господи, на кого похож тот, что справа, где я мог его видеть... Это же... Как я не признал сразу?»

Официант поставил на стол стаканы и долго глядел вслед уходившим – пока они не свернули за угол.

– Верди! – громко сказал официант. – Подумать только: Верди в Венеции! Значит, скоро в «Ла Фениче» новая опера!

Номер 8. Монолог, дуэт и дуэтино

Майор Петер Фридхолм, руководитель следственной группы, расследующей убийство, произошедшее в Шведской Национальной опере, был не то чтобы разочарован результатами, он понимал, что быстрого успеха в столь сложном и необычном деле добиться невозможно, но знал также, что времени для того, чтобы выйти на след преступника, у него так же мало, как воды в бассейне парка Хюмлегарден. На утреннем совещании ему об этом прямо сказал комиссар Висгартен, а на того тоже, понятно, оказывали давление, журналисты сделали из этой трагедии сенсацию, и закрыть рты прессе можно было только одним способом: предъявить убийцу или хотя бы подозреваемого, с которого можно было бы потом снять обвинения из-за недостатка улик.

Подозреваемого у Фридхолма не было. Ни одного. И это несмотря на то, что в момент убийства люди на сцене толпились, как в зале прилетов Национального аэропорта. Все всех видели, и, тем не менее, ни одна живая душа не смогла дать толковых показаний, даже толстушка Биргитт Густавсон, любимица публики, стоявшая буквально в двух шагах от Ленарта Хоглунда, в самый ответственный момент вдруг упавшего с диким воплем и начавшего кататься по сцене, оставляя на светлых досках пола темные кровавые пятна.

Репетицию, конечно, тут же прервали – хорошо хоть это случилось не на премьере, но и на генеральной в зале собралось много народа, человек пятьсот, пришлось их всех опрашивать, Фридхолм задействовал сотрудников отдела и еще из соседних отделений прихватил, получив разрешение начальства. Восемьдесят полицейских – никогда еще не приходилось Фридхолму руководить такой армией, вроде бы все сделавшей правильно, протоколы допросов и результаты (отрицательные!) обысков он только что видел в компьютере, господи, какая колоссальная и бессмысленная работа! Человек убит на глазах у сотен людей, и никто ничего не смог сказать, никто ничего не смог толком разглядеть! Да, на сцене был полумрак, хотя всего за несколько секунд до трагедии сцену освещали двадцать четыре прожектора. Так нет же – в тот момент, когда из толпы придворных выходил Ренато, доставал из-под плаща кинжал и восклицал «Прощай навек!», именно в тот момент, нет, буквально секундой раньше, свет на сцене убрали согласно гениальному режиссерскому замыслу, и только один яркий луч был направлен на Ричарда, а Ренато – виновник переполоха – остался в тени, да что там в тени, в полном мраке! Попробуй что-нибудь разглядеть, когда только что светило яркое солнце, и вдруг наступила ночь.

Бутафорский кинжал, которым Ренато якобы поразил своего врага, нашли, конечно – когда Ричард начал кататься по полу, вопя от боли, Андреа ди Кампо, нервный итальянский баритон, выронил эту картонку, и ее тут же затоптали хористы, бросившиеся кто помогать тенору (хотя чем они могли помочь?), а кто, наоборот, подальше от криков и вида крови. Потом, когда всех удалили со сцены, Фридхолм нож этот, конечно, нашел и передал на экспертизу, но сделал это для проформы, только для того, чтобы убедиться, что ди Кампо держал в руке именно этот театральный кинжалчик, а не настоящее оружие, так и не найденное ни у кого из хористов, солистов, миманса, оркестра, рабочих сцены, осветителей, зрителей и билетеров, которые вообще к этому происшествию не могли иметь никакого отношения. Почти тысяча человек! Это была не ночь, а тихий кошмар, у Фридхолма до сих пор дрожали кончики пальцев, а в голове был хаос – примерно такой, какой царил в мире до того, как Господь отделил небо от суши, а день от ночи.

И главное: что в результате? Сколько людей будет теперь писать комиссару жалобы на ужасное, нетактичное, неправильное, непрофессиональное и какое еще можно придумать поведение стокгольмских полицейских! Главный дирижер, как его... Фридхолм все время забывал эту длинную итальянскую фамилию... да, Фистичелли-Моретти... уже напи-

сал письмо не только в комиссариат, но и в министерство, и даже, кажется, в Еврокомиссию по правам человека, хотя от этих бюрократов уж и вовсе ничего в этой жизни не зависело (впрочем, карьере Фридхолму испортить они могли – достаточно принять формальное решение о его неполном профессиональном соответствии). Хорошо хоть удалось уладить дела с генеральным директором театра Густавом Фергюссоном и главным администратором Хельгой Алмгрен. С ними Фридхолм все-таки нашел общий язык – после почти часовой беседы, в которой госпожа Алмгрен использовала весь свой запас крепких выражений, а господин Фергюссон по-женски заламывал руки и закатывал глаза, – пришлось пойти на уступку и разрешить сегодня премьеру, хотя по всем правилам такого рода расследований нужно было бы закрыть театр на несколько дней, чтобы в спокойной обстановке провести все обыски и все виды экспертиз. Какой, черт возьми, был смысл в расследовании, если орудие убийства обнаружить так и не удалось, и совершенно ясно, что кто-то, очень уж приткий и изобретательный, вынес нож из театра в суматохе, начавшейся сразу после убийства – возможно, это произошло еще до прибытия полиции, хотя все билетеры в голос божатся, что ни одна живая душа из здания не выходила, а когда господин майор приказал, так и вовсе все двери были закрыты не только на ключ, но и на сигнализацию, так что никто не мог покинуть театр – ни пеший, как говорится, ни конный.

Тремя имевшимися в театре черными и грузовыми выходами никто воспользоваться также не мог по той простой причине, что все ворота, открытые настежь днем, когда шла подготовка к вечернему прогону, были в семь часов заперты, и камеры слежения, стоявшие у каждого из этих выходов – снаружи театра, впрочем, а не внутри – не показали никакого движения. Даже прохожих было мало, потому что холод на улице вчера стоял страшный: минус двадцать четыре с сильным ветром без снега, хороший хозяин собаку на улицу не выпустит, а эти меломаны мало того, что явились на генеральную, так еще и следили за представлением с вниманием, достойным лучшего применения. Толстую фигуру Биргитт Густавсон все описывали с такими подробностями, будто рассматривали под микроскопом, и беднягу Хоглунда видели тоже, как он склонялся над ручкой примадонны и пел свое «прощай, прощай...» будто специально.

И какого черта режиссер в момент покушения надумал вырубать на сцене свет, чтобы оставить в поле зрения только этих двоих – Амелию и Ричарда? Если бы не идиотская режиссерская находка... Да что говорить! Даже мотив не просматривается, не то чтобы какая-нибудь материальная улика! Незачем было ди Кампо убивать Хоглунда, они и знакомы были шапочно, итальянец заключил с Национальной оперой контракт на десять представлений «Бал-маскарада» и прилетел в Стокгольм в прошлую пятницу, после чего успел провести три сценические репетиции – одну под рояль и две с оркестром, не считая генеральной, откуда его увезли в полицейский участок. С Ричардом-Хоглундом ди Кампо познакомился на второй репетиции, они пожали друг другу руки, попытались вспомнить, выступали ли когда-нибудь вместе, но так и не вспомнили, а вне сцены не встречались – во всяком случае, никто из свидетелей не смог припомнить ничего подобного. В отеле «Ренессанс» тоже были предельно кратки: ди Кампо никуда не выходил, кроме как в театр, куда от отеля можно было дойти пешком за три минуты. В номере он, правда, вел себя довольно развязно, вещи раскидал так, что убирать было трудно, уборщицы все время находили какую-нибудь деталь его туалета под кроватью, на креслах, на столе, да где угодно, включая туалетную комнату, где почему-то на ручке унитаза висел белый в красную крапинку галстук, больше подходивший клоуну, чем известному оперному солисту. Впрочем, южный темперамент, приходится делать скидку. В номере, естественно, тоже провели обыск и, конечно, ничего не нашли, да и смешно было ожидать, ведь из театра ди Кампо к себе не возвращался.

Мотива нет, орудия убийства нет, свидетелей, по сути, нет тоже. Почти две тысячи глаз – и все слепые.

На столе рядом с монитором компьютера зазвонил телефон, и Фридхолм, увидев сначала номер на дисплее, поднял трубку.

– Слушаю, господин комиссар, – произнес он, стараясь, чтобы голос звучал бодро и хотя бы на один процент убедительно. – Я надеюсь, что еще до вечера получу результат экспертизы, и тогда смогу...

– Господин майор, – сухо произнес голос комиссара Ресмарка, – на вас только за час – с восьми, как мы открыли линию – поступило семьдесят три жалобы, причем в числе жалобщиков дочь министра транспорта Каролина Сандгрэн, она не пропускает ни премьер, ни, как оказалось, генеральных репетиций, у нее постоянное место в ложе...

– Я лично говорил с госпожой Сандгрэн, – скрывая ненависть, которую он испытывал после вчерашнего к этой напыщенной и глупой особе, сказал Фридхолм. – Я лично отдал распоряжение отпустить ее домой буквально полчаса спустя после того, как прибыл на место преступления. Ей просто не на что жаловаться, господин комиссар!

– Значит, есть на что. Впрочем, это частности. Как продвигается расследование? Мне доложили, что вы отпустили ди Кампо.

– Я не мог задерживать его больше, чем это положено по закону. Улик против него нет. Мотива нет. Ничего нет. К тому же, он сегодня поет премьеру, и все билеты давно проданы.

– Вы меломан, господин майор?

– Терпеть не могу оперу! – с чувством воскликнул Фридхолм, и это была истинная правда.

– Значит, вы не поинтересовались, кто на премьере будет петь Ричарда вместо убитого Хоглунда?

– Нет, – буркнул Фридхолм. Его это нисколько не занимало. Найдут кого-нибудь. Лишь бы нового тенора не пришили таким же образом прямо на премьеру.

– Нет, – повторил комиссар, и Фридхолм так и увидел, как тот пожал плечами и воздел очи горе. – Вместо Хоглунда будет петь Сергей Ларин.

Ларин. Пусть хоть Иванов.

– Послушайте, Фридхолм, – раздраженно сказал комиссар, – не любите вы оперу, это я понимаю, но ведь не можете вы настолько не интересоваться искусством, что даже не знаете, что Ларин сегодня – один из лучших теноров мира, и у него совершенно случайно оказались свободны три вечера! Вы понимаете, что сегодня в театре будет столько народу, сколько не было, возможно, никогда? И если что-нибудь...

– Вы думаете, что это... может повториться?

– Я думаю, что должна быть обеспечена полная безопасность всех солистов, – сказал комиссар.

– Но я...

– Вам я не предлагаю заниматься еще и этой проблемой, – смягчил тон Ресмарк. – Занимайтесь расследованием. Собственно, я позвонил вот почему... – Он помолчал, будто думал, нужно ли сообщать Фридхолму информацию, которая на самом деле, может, вовсе его и не касалась. – Вы читали утреннюю прессу?

– Нет, господин комиссар, у меня нет для этого времени.

– Мне уже звонили из всех газет Стокгольма, с телевидения тоже, и нужно что-то им ответить.

– Не понимаю... – начал Фридхолм.

– В Бостоне тоже был прогон в опере, ставили «Густава III», это, как я понял, или то же самое, что «Бал-маскарад», или какой-то из вариантов, неважно... Короче, там в финале при совершенно аналогичных обстоятельствах был убит тенор. Ножом в спину.

– Черт! – сказал Фридхолм, потому что другие слова он просто забыл.

– Таких совпадений не бывает, согласен, – сказал на другом конце провода комиссар, будто Фридхолм уже успел высказать ему свое мнение. – Кстати, из Бостона мне тоже звонили. Не из полиции, однако, а какой-то физик... во всяком случае, он так сказал... и фамилия почему-то русская. Я не расслышал, попросил повторить, но он, видимо, не понял. Говорил, что у него есть соображения по поводу обоих убийств. Странно, да? Разговор на этом месте прервался, так что... Возможно, это кто-то из тамошних экспертов, вы потом узнайте. Я имею в виду, когда позвонят из полиции. Впрочем, можете сами с ними связаться. Если из Бостона будут звонить, переведу разговор на вас.

После чего, даже не попрощавшись, комиссар положил трубку, оставив майора размышлять над странностями земного существования.

Фридхолм привык действовать даже в тех случаях, когда, казалось бы, никаких следственных действий предпринять было невозможно из-за полного отсутствия информации. Тогда Фридхолм действовал по интуиции, которая в половине случаев его подводила, но в другой половине все-таки приводила к верным результатам, которыми он даже гордился. Сейчас интуиция шепнула ему, что лучше не ждать, когда позвонят коллеги из Бостона (кстати, где это? На западе Штатов или на востоке? Фридхолм не был силен в географии – он слышал о «Бостонском чаепитии», но к географии эти сведения, запомнившиеся со школьных лет, не имели отношения), а позвонить самому – спрашивать проще, чем отвечать.

Прежде, однако, Фридхолм связался с криминалистической лабораторией и попросил доктора Ландстрема. На часах было девять семнадцать, Ландстрем – сова, но только в выходные, а когда есть работа, то скорее жаворонок.

– Это ты, Петер? – В трубке послышалось тяжелое дыхание, и голос звучал невнятно, наверняка Ландстрем держал в зубах сигару. – Я же тебе сказал, что результат будет к вечеру.

– Послушай, разве так трудно определить отпечатки?

– Если тебя только это интересует, то ради бога: на несчастную картонку столько раз наступили ногами, что я могу тебе рассказать как минимум о трех видах ботинок...

– Пальцы...

– Отпечаток пальца только один, и тебе невероятно повезло, что его не затоптали свидетели.

– Ну и?

– Андреа ди Кампо. Плохой отпечаток, смазанный, идентификация дает процентов шестьдесят-семьдесят, для суда это не гарантия. Но для тебя достаточно. Ди Кампо. Странно было бы, если бы отпечаток принадлежал кому-то другому, верно?

– Верно, – буркнул Фридхолм. – А какие еще результаты ты хочешь получить?

– Ну... Ты сегодня, видимо, не в себе, Петер. Ты же знаешь наши возможности. К вечеру я тебе скажу, касался ли кинжал одежды убитого. Если да, на кончике картонного лезвия должен был сохраниться молекулярный след. Образец ткани камзола, в котором вчера был Хоглунд, у меня есть, так что...

– Господи! Касался или не касался... Не мог же ди Кампо зарезать Хоглунда этой картонкой!

– Ты сегодня положительно не в форме, Петер! Не мог, конечно. Но одно дело, если он успел коснуться... значит, настоящим ножом Хоглунда ударили уже потом, и это был или сам ди Кампо, или человек, которого он мог не увидеть, потому что переполох начался сразу же. А если ди Кампо не успел коснуться... получается, что Хоглунд получил удар и упал раньше, и тогда ди Кампо не мог не увидеть убийцу.

– Да, я сегодня... Спасибо, позвони мне сразу, как только получишь результат.

– Непременно, – пропыхтел эксперт. – Ты же меня знаешь.

Это точно, Фридхолм знал Ландстрема достаточно, чтобы понимать, что, конечно, звонить тот не станет, запишет результат в компьютер и отправится домой или в ресторан, ищи его потом, а когда найдешь, он станет говорить, что как раз в этот момент набирал номер...

– Мне нужно, – сказал Фридхолм девушке на коммутаторе управления, – срочно поговорить с кем-нибудь из полицейского управления в американском городе Бостон. Желательно, с кем-нибудь из начальства.

– В Бостоне сейчас половина пятого утра, – сказала девушка, – я попытаюсь, конечно...

– Ага, – ухватился Фридхолм, – значит, вы знаете, где этот город находится – на востоке Штатов или на западе.

– Это Новая Англия, – сообщила девушка, перед которой, вполне вероятно, висела большая карта земного шара. А может, она была в школе отличницей именно по географии. – К северо-западу от Вашингтона. Километров сто... или двести.

– Спасибо вам большое! Половина пятого, говорите? Ну, дежурный там все равно должен быть. Соединяйте!

Ждать пришлось недолго – минуту или две, – но за это время Фридхолм успел передумать массу мыслей, как обычно вперемежку: о том, например, что если Ингрид захочет поменять мебель в гостиной, то противопоставить этому желанию он ничего не сможет, хотя все аргументы жены знал наизусть и категорически был с ними не согласен, а отдыхать этим летом лучше, наверно, не на островах, там, говорят, ожидается страшная жара, глобальное потепление, знаете ли, а почему тогда в Стрёмсунде нынче такие холода, что Сван вернулся домой весь обмороженный, хотя школа гарантирует, что дети во время экскурсии будут под надзором опытных воспитателей, сын, конечно, на седьмом небе, ему только дай возможность попасть в какую-нибудь переделку, надо будет проверить, не забыла ли Ингрид вовремя помазать ребенку лоб, щеки и пальцы (не только на руках, на ногах тоже) той мазью, что выписал доктор Хозард, потому что мазь, которую дал доктор Маршнер, кажется, не очень удачная, во всяком случае, перед тем как поехать на работу, он зашел к сыну в спальню, со щек Свана так и не сошел нездоровый румянец, руки мальчик держал под одеялом (надо будет сказать Ингрид, чтобы обратила внимание, это тоже нездоровое явление), и потому он не смог увидеть, произошло ли шелушение...

– Дежурный сержант Лоуренс слушает, – бодро произнес в трубке довольно далекий, но очень четко слышимый голос.

– Это управление полиции Бостона? – на всякий случай уточнил Фридхолм.

– Управление полиции Бостона, – повторил дежурный на другом конце провода. – Кто говорит? Назовите себя и сообщите суть вашего сообщения.

– Сержант, – сказал Фридхолм, – я офицер следственного отдела полицейского управления Стокгольма, мое имя Петер Фридхолм, я веду дело об убийстве и хотел бы поговорить со следователем, который занимается у вас...

– Да-да, мистер Фридхолм, – перебил дежурный, не готовый, видимо, выслушивать долгие объяснения того, что ему уже было известно. – Вы очень вовремя позвонили, старший инспектор Стадлер собирался с вами – или с кем-то из ваших коллег – связаться, как только придет на работу. Я ему передам, что вы звонили. Ваш номер...

Фридхолм продиктовал номера своих телефонов – рабочего, домашнего и мобильного, добавил адрес электронной почты, на которую просил, если господин Стадлер сочтет возможным, сбросить основные материалы по этому делу, поскольку два случая, не исключено, носят скоординированный характер, трудно, на самом деле, поверить, что практически одинаково совершенные преступления да еще чуть ли не одновременно... кстати, сержант, может, вы уже сейчас можете дать такую информацию... я имею в виду точное, насколько это возможно, время убийства в Лирической опере, есть определенные соображения, хотелось бы...

Никаких соображений у Фридхолма не было. Соображения, если и возникли в его голове, были настолько неопределенными, что он не смог бы их сформулировать.

– Я могу сообщить только то, что у меня есть в открытом банке данных по управлению, – извиняющимся тоном сказал сержант Лоуренс. – Сейчас я найду файл... Да, вот. Зафиксированное время совершения преступления: шестнадцать часов тридцать три минуты и сорок секунд.

– Удивительная точность! – не удержался от восклицания Фридхолм. – Кто-то в это время смотрел на секундомер?

– Нет, конечно, – сказал сержант Лоуренс, и Фридхолм даже за десять тысяч километров услышал, как собеседник хмыкнул, подумав, должно быть, о том, что в Швеции работники полиции не такие сообразительные, как в Штатах. Ну и ладно, сейчас не до таких тонкостей, а при случае Фридхолм, конечно, напомним своему коллеге Стадлеру, чтобы тот сделал сержанту замечание. – В опере, видите ли, ведется видеозапись каждой репетиции, вот в компьютере и отмечено точное время.

Потрясающе! Надо будет выяснить в Национальной опере – наверняка... то есть не наверняка, конечно, но не исключено, что и там тоже ведут запись. Почему вчера ничего об этом не сказали? А почему майор сам не догадался спросить?

– Эта запись... – проговорил Фридхолм. – На ней зафиксировано, видимо, не только время убийства, но и сам момент преступления?

– Об этом, господин Фрид... э-э... вы лучше поговорите со старшим инспектором Стадлером, когда он придет на работу, – твердо заявил сержант.

– Когда старший инспектор обычно приезжает на работу? – продолжал допытываться Фридхолм.

– В восемь тридцать. Через четыре часа.

Не очень они там себя утруждают. Фридхолм, бывало, вообще сутками не являлся домой, а эти американцы... Он не мог знать, конечно, что Стадлер не спал больше суток и только по этой причине выкроил для себя несколько предутренних часов, да и не собирался спать долго, на работе он появился в семь, но и этого сержант Лоуренс, конечно, не мог предвидеть.

– Хорошо, – кислым тоном сказал майор и задал последний вопрос, на который, как он был уверен, ответ дать было легко: – Может, в таком случае, вы скажете, есть ли среди ваших экспертов физик с русской фамилией?

– Не скажу, – отозвался сержант. То ли действительно не знал, то ли не хотел говорить. Может, решил вдруг, что звонивший из-за океана человек, назвавшийся следователем, на самом деле не имел к Шведской полиции никакого отношения, а был журналистом, желавшим заполучить для газеты эксклюзивную информацию.

– Большое вам спасибо, – сказал Фридхолм и положил трубку.

Время. Уж это проверить можно прямо сейчас, в опере продолжают приготовления к премьерному спектаклю, наверняка там сейчас все бегают как сумасшедшие, ничего, на минуту пусть остановятся и проверят записи на студийном видеомагнитофоне.

Через минуту, преодолев упорное нежелание главного режиссера Ульмана сообщать внутренний номер аппаратной, будто это был штаб, на который полиция могла сбросить бомбу с лазерным наведением, Фридхолм попытался объяснить проблему руководителю технической группы Ингмару Валленштейну, все мысли которого были, похоже, сосредоточены на сбоевшем втором микрофоне нижнего ряда. Валленштейн орал по этому поводу на кого-то, Фридхолму невидимого, и на майора отреагировал, как на назойливую муху, жужжавшую над ухом и не желавшую улетать, сколько ее ни отгоняй.

– Но послушайте, господин... – наконец, включил свое внимание Валленштейн, – это вы были здесь вчера? Так я на все вопросы ответил... Запись? Конечно, мы ведем запись, и

что вы вообще от меня хотите – ваш сотрудник, не знаю его фамилии, из группы экспертов, кажется, забрал у меня этот отрывок... ну, на котором сцена... я записал ему на диск. Извините, может, вы мне дадите возможность продолжить работу?

Фридхолм чертыхнулся и положил трубку с четким осознанием того печального обстоятельства, что уже, должно быть, не способен одинаково легко запоминать все обстоятельства собственного расследования – мало того что сам не подумал о записи, так не подумал и о том, что нечто такое могло прийти в голову Ландстрему?

Не став додумывать печальную для него мысль, Фридхолм набрал номер криминалогической лаборатории.

– Ландстрем? – спросил женский голос. Матильда или Бриджит? Чья сейчас смена? Неважно. – Он выехал на происшествие, будет через полчаса-час. Я могу вам чем-нибудь помочь, господин Фридхолм? Вряд ли вам доктор сейчас ответит, если вы позвоните ему на мобильный...

– Да, знаю. Послушайте, Матильда...

– Бриджит.

– Простите, я вас не узнал по голосу.

– У нас с Матильдой очень похожие голоса, – сообщила Бриджит, – так что ошибаетесь вы в половине случаев, это проверено.

Эксперты, черт побери, все у них точно отмерено, даже то, сколько раз майор Фридхолм путает имена помощниц Ландстрема.

– Бриджит, у вас должен быть диск с записью вчерашнего убийства в опере.

– Да, господин Фридхолм, вы же сами и передали его на экспертизу.

Видимо, Ландстрем так этот материал и оформил – как переданный следователем. Попробуй теперь утверждать, что майор даже не подумал о том, что может существовать запись...

– Вы уже...

– Конечно, – сказала Бриджит... как же ее фамилия... уж это он должен помнить... конечно, Свенсон. – Ничего интересного, господин Фридхолм, съемка велась в тот момент обзорной камерой, на сцене было темно, видна только фигура госпожи Густавсон, она загоразживала Хоглунда, а ди Кампо вообще оставался в полном мраке, видно только, что за спиной госпожи Густавсон возникло какое-то движение.

– Это я потом посмотрю... с Ландстремом, конечно. Вы мне скажите: при записи фиксировалось время?

– Конечно. Вас это интересует? Я посмотрю. Подождете у телефона или мне вам перезвонить?

– Подожду, – сказал Фридхолм и принялся слушать шорохи, считая про себя, чтобы не забивать голову прежде времени ненужными мыслями. На счете двести тридцать шесть высокий голос Бриджит Свенсон произнес:

– Вы еще у телефона, господин майор? Время двадцать один час тридцать девять минут и сорок секунд.

– И сорок секунд, – повторил Фридхолм. – Спасибо, Бриджит. Я уверен, что теперь никогда не спутаю ваш голос ни с каким другим. А Ландстрему я перезвоню. Через час.

Шесть минут разницы. Можно сказать, практически одновременно. На двух континентах. Картонные кинжалы. Бред.

Номер 9. Сцена, хор и дуэт

Я думал, они разнесут оперу. Я понимаю, конечно: убийство – лучшая реклама. То есть я хочу сказать, что совершенно этого не понимаю, но мало ли чего я не понимаю в жизни? Почему, если случается авария, автомобиль всмятку, кровь на асфальте, зрелище не то что неприятное, но, по идее, противное гуманному человеческому естеству, так почему же все, кто видел, как это произошло, и все, кто не видел, но находился на соседней улице, а также все, кто слышал об аварии, сбегаются поглазеть? Полиция не пропускает, и они стоят толпой у ограждения, смотрят, выпитывают – может, представляют себе, что каждый из них мог оказаться на месте жертвы? Почему одиннадцатого сентября, когда горели и падали башни, все телевизионные каналы показывали это кошмарное зрелище в прямом эфире, и миллионы (а может, миллиарды?) людей не могли отойти от экранов и смотрели, как маленькие черные точки (люди!) вываливались из окон верхних этажей и падали, падали?.. Кто-то стоял на карнизе и махал тряпкой, звал на помощь, потом сорвался и полетел вниз... а все смотрели, ужасались, но зрелище притягивало...

В тот день, помню, я выключил телевизор, не пошел на физфак, в шесть декан Дерюгин назначил совещание, он любил вечерние посиделки, и я представлял, о чем пойдет разговор, сидел в четырех стенах и ждал, когда все закончится. Я знал, что кто-нибудь из знакомых, оторвавшись, наконец, от телевизора, непременно позвонит и спросит: «Ты видел? Видел? Какой кошмар!»

Я не видел. Я и потом не хотел смотреть, но кадры, обошедшие мир, столько раз потом повторяли в разное, причем самое неожиданное, время, что не увидеть, не запомнить было просто невозможно.

В оперу я бы сегодня не пошел тоже – во всяком случае, увидев толпу у касс и главного входа (было только пять часов, до начала спектакля оставалось очень много времени!), я захотел вернуться в кампус и посвятить вечер чтению «Physics Letters», где была опубликована оригинальная по форме, но не очень внятная по содержанию статья Джона Галперстона о топологических ограничениях на выбор ветвлений в случае ограниченного числа миров в постэвереттовской модели Многомирия. Я даже оглянулся, поискав возможность выехать со стоянки задним ходом, но позади уже собралась длинная очередь машин, и ехать я мог только вперед, куда указывал дежурный. Тома не заметила моих сомнений, она сидела рядом, закрыв глаза, веки ее чуть подрагивали – она то ли мысленно пропевала свою партию, то ли, наоборот, старалась забыть о предстоявшем спектакле и вспоминала сцены из своего детдомовского детства – как-то она рассказала мне, что эти неприятные воспоминания заставляют ее ощутить необходимую злость, вкачивают в кровь адреналин.

«Зачем тебе злость, – спросил я, – если петь ты будешь сегодня Розину?»

«Ты не понимаешь! – воскликнула Тома. – Когда злишься, перестаешь бояться. Если выходишь на сцену со страхом – все равно перед кем: публикой, дирижером, темнотой зала, – то ни за что не споешь так, как нужно. А если злишься, то все идет хорошо».

Может быть, не знаю.

– Посмотри, что делается, – сказал я, выключив двигатель. – Наверно, поставят приставные стулья.

– Плохо, – сказала Тамара. – Эти люди... Они сегодня не оперу пришли слушать. Будут ждать четвертого акта, нашего дуэта и того момента, как...

– Ты знаешь... – начал я, но тоже не стал продолжать. Расскажу потом, когда после премьеры повезу Тамару в наш ресторан. Ее, конечно, позовут на банкет, который заказан в голубом зале «Савоя», но я ее увезу, не нужно ей быть сегодня в компании, где каждое второе слово будет о бедном убитом Гастальдоне.

– Что? – спросила Тома, взяла меня под руку, и мы пошли под прикрытием машин к служебному входу, где, я уже видел, репортеров скопилось больше, чем мух над тарелкой со вчерашним бифштексом.

– Ничего, – пробормотал я. – Ты никогда не пробовала надевать чадру?

– Пробовала, – улыбнулась Тома. – В консерватории. На третьем курсе мы ставили «Похищение из сераля».

– Чадра тебе сейчас не помешала бы.

Засверкали вспышки, в нашу сторону потянулись микрофоны, какой-то тип с камерой на плече, растолкав коллег, бросился перед Томой на колени, чтобы получить нужный ракурс, вопросы слились в неровный гул, понять было трудно, я и не пытался, а Тома, улыбаясь и сжимая мой локоть, шла, разрезая эту людскую массу то ли взглядом, то ли каким-то шестым волевым чувством, у меня тоже что-то спросили, во всяком случае, я расслышал свое имя и ответил «No comment», вполне представляя, как в газете будет расшифровано и растолковано мое не очень пространное заявление.

Наконец мы оказались в длинном мрачноватом коридоре, где нас встретил старый Джош Веркер, работавший в театре со дня его основания и отвечавший за то, чтобы солистам было удобно в своих гримерных, чтобы у них там было все, что они потребуют, и чтобы никто из посторонних не мешал сосредоточиться перед спектаклем.

Я давно уже не был для Джоша посторонним, и старик приветствовал нас с Томой своей обычной шуточкой:

– Знаете, мисс Беляев, сегодня у меня было предчувствие: биса в вашей арии не будет. После чего, выдержав секундную паузу, добавил:

– Потому что вам придется исполнить ее трижды!

Скорее всего, он говорил то же самое каждому солисту.

– Вы видели, Джошуа, что творится снаружи? – спросил я.

– Столпотворение, мистер Бошкариоф, – сказал Веркер, в который раз безуспешно пытаюсь выговорить мою фамилию. – Это ужасно, маэстро Лорд говорит, что слушать будут плохо, и ему совсем не хочется дирижировать, а с таким настроением нельзя проводить премьеру.

– Все будет хорошо, Джошуа, – сказала Тамара.

– Хорошо... – горько произнес Веркер, поднимаясь следом за нами по лестнице на второй этаж, где располагались гримерные. Он не мог отказать себе в привычном удовольствии заглянуть в комнату Тома, убедиться, что там все в порядке, и что Кэт на месте, и что дверь открывается без скрипа, а потом он эту дверь медленно закроет за собой и спустится вниз, чтобы встретить и проводить очередного исполнителя.

– Вы говорите «Хорошо», мисс Беляев... Что ж хорошего, если полицейских в театре столько же, сколько хористов, а этот... старший инспектор Стадлер засел в пустой гримерной, той, которую вчера занимал бедняга Гастальдон, и вызывает опять всех и каждого? С Мелликером, это вторая скрипка, недавно чуть сердечный приступ не случился, разве можно так перед премьерой? Маэстро Лорд сказал ему, а он... Нет, я не знаю, что ответил этот Стадлер, но допросы продолжаются, вы представляете? Прошу вас, мисс Беляев. Кэт, ты готова? Пришла графиня Анкастрем.

И Джош удалился, медленно закрыв за собой дверь.

Глаза у Кэт, гримировавшей Тому уже второй сезон, показались мне заплаканными, но освещение в комнате было довольно тусклым, горели только бра и яркая лампа, освещавшая гримировочный столик.

– Андрюша, – сказала Тома, усаживаясь перед столиком и привычно откидывая голову назад, – ты ведь не пойдешь слушать первый акт, побудешь со мной?

– Конечно! – воскликнул я, хотя первый акт мне очень хотелось послушать – как справиться с партией Стефаниос, и Анкастрема-Винклера я хотел послушать в его первой ариэте, мне она очень нравилась, мелодия здесь немного отличалась от той, что я слышал много раз в «нормальной» версии «Бал-маскарада»... А как у Винклера будет звучать голос после вчерашнего?

Дверь медленно открылась, я решил, что почему-то вернулся Джош, но это был старший инспектор Стадлер, загородивший дверной проход, постоявший в молчании несколько долгих мгновений, а потом сказавший:

– Мистер Бочкариофф, я так и думал, что застану вас здесь. Вы ведь не заняты?

Послышалась мне в его голосе ирония или он говорил серьезно?

Не дожидаясь моего ответа (а на какой ответ он рассчитывал?), следователь продолжил:

– Пройдите, пожалуйста, со мной, я хотел бы задать вам несколько вопросов.

– Мне? – удивился я. – Извините, инспектор, но...

– Старший инспектор, – привычно поправил Стадлер.

– Извините, старший инспектор, но я-то что могу...

– Мисс Беляев, – обратился Стадлер к Тамаре, – вы отпустите мистера Бочкариофф на полчаса?

Тамара ничего не ответила бы, даже если бы захотела: Кэт уже положила ей на лицо маску, чтобы открыть поры и снять утреннюю косметику.

– Мисс Беляев не против, – констатировал Стадлер.

– Я скоро, – сказал я Томе, – не скучай, хорошо?

В гримерной, на двери которой еще вчера было написано «Томмазо Гастальдон», а сейчас висел большой лист бумаги с надписью «Не входить», стоял, кроме обычного столика с высоким креслом, большой диван – я слышал от Томы, что у Гастальдона болела спина, у него с детства был сколиоз, небольшой, но доставлявший, тем не менее, массу неудобств, и певец использовал каждый удобный и неудобный случай, чтобы принять горизонтальное положение, напоминая известного (мне, конечно, вряд ли Гастальдон знал эту книгу и этих авторов) звездолетчика Горбовского из произведений братьев Стругацких.

Следователь кивком головы показал, что я могу сесть на диван, сам со вздохом опустился в кресло.

– Вы, – спросил он, предпочитая не ходить вокруг да около, – давно знакомы с мисс Беляев?

– Два года, – ответил я. – И вот что я скажу, пока вы не задали следующие вопросы: наши личные отношения никак не связаны с расследуемым вами преступлением, и потому отвечать на них я не буду.

– Я и не собирался спрашивать о ваших отношениях, – обиженным тоном, будто я заподозрил его в чем-то нехорошем, сказал Стадлер.

– И свидетелем я быть не могу, – продолжал я, – поскольку в тот момент, когда произошло убийство...

– Находились в аудитории номер двести восемь факультета физики, где проходил семинар по теме, назвать которую я не смогу даже под дулом пистолета, – улыбнулся Стадлер, показав желтые зубы. Странно, я не видел, чтобы старший инспектор курил. Может, у него были желтые зубы от рождения?

– «Обратные ветвления волновой функции и историческая многозначность макропроцессов», – напомнил я.

– Э-э... Да. В театре вас не было. Правда, у вас есть... был мотив.

– Что? – На этот раз я действительно удивился. Я-то предполагал, что Стадлер начнет задавать совсем другие вопросы. Нет, положительно, он оказался даже глупее, чем я думал. Точнее – чем надеялся.

– Мотив, – повторил следователь, положив ногу на ногу и достав из кармана пачку «Мальборо». Курил, все-таки.

Сунув сигарету в рот и прикурив от зажигалки, Стадлер целую минуту, а то и больше пускал дым в потолок и смотрел на меня взглядом психиатра, обнаружившего у совершенно здорового, казалось бы, пациента явные признаки скрываемой душевной болезни. Хотел довести меня до нужной кондиции. Мотив. Хотел бы я знать, что он имел в виду.

– Да, – сказал, наконец, старший инспектор, – так я о мотиве. Этот Гастальдон... Он давно знаком с мисс Беляев?

Одинаковые вопросы задает, никакой фантазии.

– Думаю, – сказал я, соображая, в каком сезоне Тома и итальянец вместе пели в «Севильском цирюльнике», – года три с половиной... Мисс Беляев пригласили на фестиваль в Зальцбург, мистер Гастальдон пел Альмавиву.

– Между ними были сугубо профессиональные отношения?

Естественно. Причем Тома не очень высоко оценивала вокальные данные Гастальдона (в этом мы с ней сходились, да и могло ли быть иначе? В «Травиате», к примеру, он очень напряженно проводил дуэт в последнем акте), но зато ценила его актерские способности – партнер он действительно был внимательный и играл почти безупречно.

– Сугубо профессиональные, – повторил я и добавил, не удержавшись: – А какими еще они могли быть, по-вашему?

Стадлер поднял на меня удивленный взгляд. Похоже, он хотел спросить: ты что, действительно не в курсе или притворяешься? У полицейских часто возникают странные фантазии, особенно когда речь идет о поисках мотива.

– Вы хотите сказать, – начал он с непроницаемым выражением лица, которое действовало на нервы больше, чем если бы он сейчас рассмеялся неприличным смехом, – что не знаете о том, что ваша... что госпожа Беляев провела с Гастальдоном прошлый уик-энд в Ницце, где он пел в... одной опере?

На прошлый уик-энд Тома улетала в Европу, да, она встречалась со своим консерваторским учителем пения, профессором Резницким, который в те дни участвовал в жюри проходившего в Ницце конкурса вокалистов. Тома всегда находила время и возможность увидеться с Михаилом Ионовичем, она была обязана ему всем – не только карьерой, но и самой жизнью, это была очень романтическая и почти невероятная история, не имевшая, впрочем, отношения к нынешним событиям. Тома звонила мне из Ниццы, я звонил ей...

– Вы полагаете свои сведения достоверными? – спросил я, плохо слыша собственный голос.

– Ну... Не станете же вы говорить, что вам ничего не было известно... например, об их...

Должно быть, выражение моего лица сказало Стадлеру больше, чем мой неуклюжий вопрос, он прервал фразу, и я увидел (или мне показалось?), как говаривали в старину, «печать сомненья на его челе».

– Хорошо, – вздохнул он. – Играть в эти игры сейчас я не хочу, но мотив у вас был, как бы вы ни старались показать обратное. Возможности не было, да, но, учитывая странный, если не сказать больше, способ убийства... Вы физик, могли придумать что-то этакое...

Он щелкнул пальцами.

– Вы серьезно? – поинтересовался я. Больше всего мне сейчас хотелось вернуться и задать Томе пару прямых вопросов. Между нами – я был в этом абсолютно уверен – никогда не случалось недоговорок, я ни разу Тому не обманул и точно знал (или мне это только

казалось?), что она никогда не обманывала меня. Зачем? Какой в том был бы смысл? Я задам ей вопрос, она ответит: «Чушь какая, и ты этому поверил?», и дурацкий инцидент будет сразу «исперчен», но я не мог сейчас уйти, не мог встать, даже физически не мог, какая-то слабость...

– Но я, собственно, хотел задать вам другой вопрос, – по-иезуитски перевел разговор Стадлер. – И на этот вопрос вы уж постарайтесь ответить точно. Почему вы сегодня ночью звонили в Стокгольм и хотели поговорить с тамошним полицейским следователем, ведущим дело об убийстве в Национальной опере?

Интересно.

– Почему вы решили... – сказал я, не зная, как закончить фразу, но Стадлер закончил ее сам, вообразив, что прервал меня на полуслове:

– В тамошнее управление полиции звонил физик из Бостона, интересовался убийством в опере. Не трудно сложить два и два, как вы понимаете. Так почему?

– А как, по-вашему? – хмуро сказал я. – Одинаковые преступления при одинаковых обстоятельствах. Разве это не удивительно и не бросается в глаза?

– Удивительно и бросается, – кивнул Стадлер. – Но вы-то здесь при чем? Я понимаю, когда репортер... или следователь... Но что вам-то нужно было?

– Это очевидно, старший инспектор! Видимо, я хотел знать точное время убийства.

– Видимо? – поднял брови Стадлер.

– Не придирайтесь к словам, – пробормотал я.

– А может, вы хотели узнать, не произведен ли уже арест? Не оказался ли за решеткой ваш сообщник?

Наверно, я все-таки рассмеялся. Не помню. В тот момент что-то опустилось мне на голову: может, темный мешок, может, энергетический экран, может, аура сжалась настолько, что я на какое-то время перестал воспринимать окружающее. Мир, данный мне в ощущениях, исчез, я куда-то падал, в темноту, в провал, а потом что-то меня подхватило и выбросило в белый свет. Временная потеря сознания? Но ведь я что-то делал, что-то, возможно, говорил или смеялся, иначе Стадлер отреагировал бы иначе, хотя бы обеспокоился моим состоянием, а он смотрел на меня так, будто я только что дал ему ответ на его нелепый вопрос, и ответ оказался именно таким, какого он ждал.

– Вы, конечно, скажете, – продолжал он, как ни в чем не бывало, – что нет у вас сообщника, что вы вообще невинны, как...

– Ягненок, – подсказал я.

– А это, – нейтральным тоном произнес Стадлер, открывая принесенную с собой пластиковую папку и доставая из нее предмет в целлофановом пакете, – вы узнаете или скажете, что и нож не имеет к вам никакого отношения?

Он встал, подошел ко мне и помахал пакетом у меня перед глазами. Нож, да, у меня есть такой, я им на кухне режу овощи и мясо, когда приходится готовить самому, а это случается достаточно часто, к сожалению. Черная удобная рукоятка с белой щербинкой, а чуть ниже желтое пятнышко, видимо, от какой-то кислоты, потому что смыть его я так и не смог, хотя и пытался, это кто-то из приятелей-химиков посадил, я ведь не дорожил ножом, как зеницей ока, одалживал каждому, кто просил...

– Мой нож, – согласился я, и тут меня охватило законное возмущение, которое я и высказал Стадлеру в лицо, даже поднялся с дивана, теперь мы стояли друг перед другом, и я, как какой-нибудь уличенный преступник, кричал, забыв о сдержанности, которая, как известно, всегда выигрывает у безумия:

– Как это понимать? Вы вломились в мою квартиру? В мое отсутствие? Кто позволил? Я буду жаловаться! Здесь что, нет прав человека?

– Ну, мистер Бочкариофф, ну что вы так? – сказал Стадлер, подождав, когда я, накричавшись, опустился на диван.

– Ну что вы так нервничаете? – укоризненно произнес Стадлер. – Если ваша совесть чиста...

– Вы вломились...

– Никуда я не вламывался, – резко сказал Стадлер. – Ключ от вашей квартиры в кампусе университета есть у дежурного, вы это прекрасно знаете. А у меня был ордер на обыск, могу вам предъявить, все законно.

– Свидетели должны...

– Все законно, – повторил Стадлер, – были и свидетели.

– На каком основании?

– Послушайте, господин Бочкариофф, у вас есть мотив...

Похоже, у этого человека была идефикс. Он решил почему-то, что я каким-то совершенно неисповедимым способом убил?.. Господи, не только несчастного Гастальдона, но и тенора, который пел Ричарда в Стокгольме? Его-то за что? И как? Нет, у Стадлера не идефикс, он просто рехнулся. Точно.

– Вы обнаружили на лезвии кровь? – спросил я. Если он скажет «да», я напомним, что этим ножом неоднократно разрезал свежее мясо, чаще всего телятину, из которой готовил бифштекс с кровью, кстати, и для Тома тоже, когда она (это было всего раза три или четыре) приезжала ко мне в кампус.

– Нет, – с сожалением сказал Стадлер. – Лезвие тщательно вымыто. Честно говоря, я думал, что и отпечатки пальцев на рукоятке стерты, но оказалось, что...

– Там и должны быть мои отпечатки, – кивнул я. – А чего вы ждали? Нож мой, я пользуюсь им каждый день.

– Ваши – да, – согласился Стадлер. – Но почему на рукоятке отпечатки пальцев господина Гастальдона?

– Господина Гас...

– Вот именно.

Этого я не знал. Этого я не мог знать, потому что этого быть не могло. Гастальдон никогда не бывал у меня, что ему у меня делать, мы и знакомы были шапочно – раскланивались при встречах, да и встречались только в театре и пару раз в ресторане, было это в прошлом сезоне, когда он приезжал в Бостон петь в «Кармен» – кстати, Тома в том спектакле вообще не участвовала.

– Может, вы будете сотрудничать со следствием, мистер Бочкариофф? – спросил Стадлер, спрятав пакет с ножом в свою папку. – Я вас, заметьте, ни в чем не обвиняю, но прошу ответить на вопросы. Всего лишь. Может, это сделали вы, мое начальство в этом совершенно убеждено. А может, не вы, таково, по правде говоря, мое мнение. Но что-то вы знаете, и в чем-то замешаны. Итак...

– Итак, – сказал я с горечью. – Я еще при первой встрече, помните, в «Савое», когда вы приходили к То... к мисс Беляев... я пытался вам кое о чем рассказать, а вы даже слушать не захотели.

– Не помню я, чтобы вы хотели мне что-то сообщить, скорее наоборот, вы тянули время, рассказывая о том, как композитор Верди познакомился с либреттистом... как его...

– Антонио Сомма. И если бы вы дослушали...

– Да, – с интересом произнес Стадлер, – и если бы я дослушал? Заметьте: я задаю вам совершенно конкретные вопросы, а вы мне пытаетесь рассказывать какие-то оперные истории, не имеющие отношения к делу.

– Послушайте! – воскликнул я. – Вы не видите, что оба эти убийства – именно оперные, абсолютно оперные, театральные, в жизни такого не бывает? А если еще добавить... Вы об

этом не думали, для вас теория вероятности – пустой звук, но как это в принципе возможно, чтобы в двух театрах, в десяти тысячах километров друг от друга, независимо и почти в одно и то же время исполняли не просто одну оперу, но тот же самый фрагмент, ведь убийцы – и здесь, и там – нанесли удар тогда, когда закончилось дуэтино, и дирижер палочкой показал стоявшему в темноте, за спинами хористов Анкастрему... Это здесь он Анкастрем, а в Стокгольме был Ренато, но это совершенно неважно в данном случае, потому что одна музыка, один такт, одна нота – и...

Я взмахнул рукой так, будто нанес кинжалом удар стоявшему передо мной королю, Стадлер инстинктивно отшатнулся и протянул вперед руку, чтобы отвести удар.

– Ну, мастер вы выкручиваться, – сказал он добродушно, будто не сам только что обвинял меня в смертном грехе, в нарушении заповеди, за которое, по правилу «око за око, зуб за зуб», меня бы в добрые старые времена побили камнями без суда и следствия: достаточно было двух свидетелей, видевших именно меня в момент...

Никто не видел именно меня в момент убийства на сцене Лирического театра. И уж точно никто не видел меня в момент убийства на сцене Национальной оперы в Стокгольме. Тридцать два человека (согласно списку присутствовавших на семинаре) видели меня именно в это время стоявшим у доски и выводившим мелом довольно сложные формулы. И что бы ни утверждал этот полицейский...

Я поговорю с Томой – завтра, когда она отойдет после нервотрепки сегодняшней премьеры. Она все объяснит – все о Гастальдоне, потому что не могло быть, чтобы... Нет, конечно, нет. И мотив – глупость.

А нож в моем шкафу... Он всегда там лежал, в нижнем ящике, чтобы отделить его от прочих, это был самый удобный, самый острый нож... самый удобный, да... чтобы убить. И отпечатки пальцев Гастальдона...

– Так вы будете сотрудничать со следствием? – в который уже, похоже, раз спросил Стадлер.

Я не успел ответить, я и не собирался отвечать, вообще говоря. То есть я хотел сказать, что он совсем не так, как следовало бы, подходит к поискам убийцы, я тоже не знаю, кто это сделал, но у меня, по крайней мере, есть мысли... Я хотел ему сказать: театральные, сценические, а тем более оперные, где все очень условно, преступления сильно, да просто кардинально отличаются... Да, я хотел сказать, но не успел: под потолком начал трезвонить колокольчик, третий звонок, тише, господа, сейчас начнется, маэстро Лорд стоит сейчас в узком коридорчике, что ведет к выходу в оркестровую яму, шепчет молитву, он делал так всегда, сколько я помнил, сколько видел его, стоявшим в полумраке с дирижерской палочкой в опущенной правой руке...

– Вы, наверно, хотите увидеть выход госпожи Беляев? – с деланным участием спросил Стадлер. Конечно, хочу. Не только увидеть, но быть в кулисе, когда Тома пойдет на сцену.

– До этого еще есть время, – сказал я. – Тома... Выход госпожи Беляев во второй картине.

– Да?... Ну, я не такой знаток... Надеюсь, до того времени мы с вами сумеем договориться, и вы сможете послушать. Так что вы скажете о вашем звонке в Стокгольм и о ноже с отпечатками пальцев убитого в вашем кухонном шкафу?

– В Стокгольм... – я помедлил, собираясь с мыслями. Не мог же я ему сказать, что... – Я звонил, чтобы уточнить время.

– И все?

– Все.

– Зачем? Я имею в виду – зачем вам знать точное время?

Я промолчал. О теории вероятностей я уже сказал, повторяться не хотелось.

– Вы были знакомы с Гастальдоном раньше?

Нет, не был я с ним знаком. И в моей квартире ему делать было нечего. Абсолютно.

– Нет, – сказал я.

– Знаете, – сообщил Стадлер, доверительно наклонившись ко мне, так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, – наш эксперт говорит, что ваши отпечатки расположены на рукояти так, как и должны, когда вы держите нож в правой руке, а вот отпечатки Гастальдона – так, будто он схватился левой – заметьте, левой, а не правой рукой – за рукоять ножа, направленного ему в грудь. Вы понимаете? Давайте я вам покажу. Вот эта линейка, смотрите...

– Да я и так представляю, – вяло отозвался я.

Мне нужно было подумать. Правда, совсем не о том, о чем я должен был думать, по мнению Стадлера. Если бы я сейчас был дома, перед компьютером... Мне хорошо думается, когда я смотрю на экран, даже если там всего лишь иконки программ на фоне горного пейзажа. Но ведь он не отпустит меня домой сейчас, а если отпустит, я все равно не уеду, не оставлю Тому одну, мне нужно услышать, как она сплет *Salve* во второй картине, и как в сцене на кладбище тихо выйдет к рампе, и голос ее будет звучать приглушенно, потому что...

– Вы вообще меня слышите, Бочкариофф? – Голос Стадлера действительно доносился будто сквозь ватную подушку: приглушенно и вязко.

– Да, – сказал я. – А вы меня?

– Пытаюсь, – он пожал плечами. – Но вы ничего путного не говорите. К сожалению.

– Просто вы не хотите... не можете понять. Это ведь одна и та же опера: «Густав III», что идет сейчас у нас, и «Бал-маскарад», который часов пять назад закончился в Стокгольме. Верди вынужден был пойти на уступки... это было для него труднее, чем для вас отпустить невиновного. И Сомма, либреттист. Таинственная личность. Он не писал либретто для опер. Ни до, ни после. И единственная опера Верди, музыка которой не соответствует...

– Послушайте, избавьте меня от...

Из-за двери послышались тихие звуки вступления, музыка, под которую минут через десять на сцену выйдет король Швеции Густав Третий, мелодия хора, славившего монарха.

– А сейчас, – пробормотал я, – будет мелодия заговора.

– Заговор? – встрепнулся Стадлер. – Вы сказали: заговор?

Номер 10. Дуэт

– И вы готовы сотворить с нашим Густавом такую экзекуцию? – спросил Верди, не переставая мерить комнату быстрыми шагами: от двери к окну и обратно. Сомма сидел на кончике кресла, готовый в любую секунду встать и уйти, гневно сказав на прощание... Он не хотел прощаться. Он хотел сесть удобнее и обсудить вторую строфу из монолога Лира, над которой бился прошлой ночью, но маэстро сейчас думал не о Лире, а о своем исковерканном, сброшенном с трона, растоптанном Густаве, короле шведском.

– Нет, – твердо отозвался Сомма. – Нет, маэстро, и вы это прекрасно знаете.

– Но вы! – продолжал бушевать Верди. – Вы все знали еще три месяца назад! Торелли написал вам в тот же день, когда получил отказ неаполитанской цензуры. В августе! Я был все это время в Сант-Агате, работал как каторжный, чтобы закончить музыку в срок, а вы уже знали, что вся работа – впустую, и не написали мне ни слова!

– Я писал вам, маэстро!

– Когда? Я получил одно ваше письмо, в сентябре, я вам писал тогда, что нужно исправить строфу в сцене заговора, и вы ее исправили, да, стало много лучше, чем было, и я быстро справился с музыкой этой сцены. Это было единственное ваше письмо, и в нем не содержалось ни слова о том, что опера запрещена цензурой! Уже тогда!

– Послушайте, маэстро, все это очень странно...

– Да, куда уж как странно, синьор Сомма!

– Вы меня не слушаете! Перестаньте, наконец, ходить передо мной, у меня начинает кружиться голова. Выслушайте до конца хотя бы одну мою фразу!

Верди встал у окна, положил руку на подоконник, он был сейчас очень похож на собственный портрет работы Моретто, вот только с тех пор, как портрет был написан, прошло пять лет, в бороде появилась седина, и осанка чуть изменилась. Сомма не мог понять, в чем отличие, и вдруг понял: гордость. На том портрете Верди позировал, как гордый и уверенный в себе творец, а сейчас перед Сомма стоял человек возмущенный, обиженный, даже, можно сказать, крайне обиженный и предельно возмущенный, но – не гордый, нет, и эта мысль так поразила Сомма, что он не сразу начал говорить, сидел, сжимая пальцами подлокотники, приходил в себя, а Верди ждал нетерпеливо, постукивая по подоконнику костяшками пальцев.

– Первое. Я написал вам два письма после того, о котором вы упомянули, маэстро, и ни на одно не получил ответа. Второе. Я был уверен, что и синьор Торелли также вам обо всем написал, поскольку это было его прямой обязанностью. Третье. Я с самого начала настаивал, и вы это помните, маэстро, чтобы на афише не было обозначено мое имя. Любое другое, но не мое. Теперь я настаиваю на этом больше, чем когда бы то ни было, потому что не собираюсь ставить свою подпись под тем, что останется от текста, если учесть хотя бы половину требований цензора.

Верди заложил руки за спину и опять принялся ходить – от окна к двери, мимо кресла, в котором сидел Сомма, и тот вынужден был сесть глубже и поджать ноги.

– Раньше такого не случалось, чтобы пропадали письма, – отрывисто сказал Верди, все еще пребывая в возмущении. – Знаете, синьор Сомма, получив последнее, я подумал, что вы специально не давали мне знать – и вы, и Торелли, – чтобы я мог (это вы так полагали!) спокойно закончить музыку. Но вы не понимаете: музыка и слова, музыка и сценическое действие, музыка и артисты, музыка и декорации – все это в опере неразделимо. Когда я пишу музыку, я не пишу ее только на ваши стихи, как бы они ни были прекрасны и как бы ни ложились в ритм и рифму. Одних слов мало... То есть мне было их достаточно лет двадцать назад, когда я писал «Оберто» или «Набукко»... даже «Эрнани», а сегодня – нет, сегодня слов

мало, я должен видеть сцену, декорации, слышать певцов, поэтому я просил Торелли собрать нужную мне труппу еще тогда, когда не написал ни одной ноты. Я писал мелодии для королевского дворца в Швеции, это Европа, восемнадцатый век, время, когда жили Чимароза, Глюк, Моцарт, Паизиелло... Это музыка европейских салонов и европейских кладбищ... Анкастрем поет монолог перед портретом короля – вы представляете, чтобы те же ноты и те же слова пел какой-нибудь князек в те варварские времена, когда понятия о чести были иными и заколоть человека считалось если не доблестью, то делом вполне заурядным, не стоившим таких высоких эмоций и глубоких страстей...

– Да, конечно, маэстро... – пробормотал Сомма. Странная злость всегда накатывала на него вдруг, он очень не любил эти мгновения, никогда не умел с ними бороться, это составляло несчастье его жизни, о котором не знал никто, а порой ему казалось, что и сам он не знает, не хочет знать. – Черт возьми, маэстро! – воскликнул Сомма, вскочив на ноги и подступая к Верди, который от неожиданности попятился и уперся спиной в стоявший у стены платяной шкаф. – Черт возьми, я не намерен мириться ни с цензурными изменениями, ни с вашим ко мне отношением, я, в конце концов, свободный человек, у меня свое дело, я взялся за это либретто... черт меня дернул, сейчас я совсем не понимаю, почему так поступил... взялся, да, но с самого начала оговорил... я не буду писать ничего заново, нет, маэстро, потому что это... это... да это, в конце концов, просто смешно – вы кричите на меня, будто я школяр, а между тем, мнения наши об этом... этом безобразии... да, я бы назвал иначе, но эти слова... мнения наши совпадают, и пусть будет...

Верди шагнул вперед, положил обе руки на плечи Сомма, отчего либреттист немного присел – у маэстро были тяжелые ладони крестьянина, и он еще давил ими, и сжимал плечи пальцами...

– Послушайте, дорогой Сомма, – сказал Верди, – оба мы дали выход своему гневу, давайте теперь поговорим спокойно, потому что существует контракт, «Густав» должен быть поставлен в «Сан Карло» в карнавальном сезоне, и если мы не представим оперу в срок, величина неустойки окажется такой, что я буду просто разорен.

Сомма снял руки маэстро со своих плеч – демонстративно, будто освободился от лежавшей на плечах тяжести, – и вернулся в кресло. Сел – основательно, не на краешек, как раньше, скрестил на груди руки, сказал:

– Дорогой маэстро, я готов писать, готов выполнять любые ваши указания, но условия остаются теми же: имя мое не должно быть на афише, а гонорар мой должен быть таким, о котором мы договаривались с самого начала.

– О гонораре, дорогой Сомма, можете не беспокоиться, – отмахнулся Верди, – и первое ваше условие тоже будет выполнено, я об этом позабочусь. Вы мне лучше скажите: то письмо, что я не получил. Вы писали в нем о решении цензора?

– Да, маэстро, письмо было отправлено на следующий день после того, как мне стало известно о запрете неаполитанского цензора Скотти.

– То есть шестнадцатого октября, – уточнил Верди, остановившись перед креслом и глядя на Сомма сверху вниз.

– Шестнадцатого ок... – начал Сомма и запнулся. – Нет, маэстро, почему шестнадцатого? Двадцать первого.

– Решение цензор принял пятнадцатого, – сказал Верди. – В тот же день он передал импресарию Торелли бумагу, вот эту, что я держу в руке, мне ее переслал Рикорди, я получил ее только вчера. Посмотрите на дату – пятнадцатое.

Верди протянул бумагу, и Сомма поднес текст к глазам. Да, это то самое... Он был тогда в Неаполе по делам, совершенно не связанным с оперой, и Торелли, отправляясь к цензору, послал к нему в гостиницу мальчишку-рассыльного с запиской, предлагал встретиться в шесть вечера в закускойной «Монтале», Сомма явился вовремя, а импресарию опоз-

дал, пришел взволнованный настолько, что даже не поздоровался, а сразу перешел к делу: оперу запретили, и как сообщить об этом маэстро, нужно смягчить... Но и тянуть с сообщением нельзя. «Я напишу завтра, – сказал Сомма, – мое письмо, надеюсь, не произведет на маэстро такого гнетущего впечатления, как ваше». Для себя он, впрочем, уже решил – у него не было ни малейшего желания участвовать в этом фарсе, в этом чисто неаполитанском безумии, и он был уверен в том, что маэстро, в какой форме ему ни сообщить, придет в ярость и разорвет контракт. Сомма не меньше, чем Торелли, был знаком с необузданным вердиевским темпераментом.

Он написал письмо в ту же ночь и утром отправил, и был уверен, что уже через два-три дня маэстро все знал, потому и удивился, получив от него письмо, в котором Верди просил изменить пару строк в сцене заговора, чтобы сделать фразу Амелии более рельефной музыкально и сценически. Он изменил фразу и удостоился похвалы, но пребывал в недоумении... таком же, как сейчас.

– Странно, – сказал он. – Я прекрасно помню: это было вечером двадцатого, мы встретились с Торелли в закуской «Монтале». Утром следующего дня я отправил вам письмо... двадцать первого.

– На письме дата – шестнадцатое, – нетерпеливо сказал Верди.

– Да, я вижу, – удрученно согласился Сомма.

– И это ваш почерк.

– Мой. Я прекрасно помню, маэстро, как писал это письмо. Двадцать первого.

– Ну, хорошо, – Верди бросил бумагу на столик, где лежали вразброску несколько испитых листов и нотных тетрадок. – Неважно. Это совершенно неважно, дорогой Сомма. Шестнадцатого или двадцать первого.

– Важно, – неожиданно сказал Сомма и, поднявшись из кресла, обошел стоявшего на его пути Верди и взял в руки собственное письмо. – Я только что обратил внимание...

Он водил пальцами по строкам, кивал головой, а Верди стоял за его спиной и напевал под нос – точнее, мычал, как он это часто делал на репетициях – какую-то не известную Сомма мелодию, может, даже из уже сочиненного, но никем еще не слышанного «Густава».

– Вот, – хмуро произнес Сомма, найдя место в тексте, – тут написано: «И я готов, дорогой маэстро, произвести в тексте либретто необходимые изменения, чтобы не столько удовлетворить требования цензуры (совершенно бессмысленные), сколько не обмануть ожиданий неаполитанской публики, которая, как я успел убедиться за несколько дней пребывания в этом городе, страстно (о да, маэстро, это слово здесь наиболее уместно) жаждет услышать новый шедевр Верди и будет не то чтобы разочарована, но скорее возбуждена настолько, что может произойти революция, если премьеры не состоится в точно обозначенную дату, к которой эти безумные неаполитанцы уже начали готовиться...»

– Да-да, – Верди даже притопнул ногой от нетерпения. – Я это читал. Вы это писали, что тут...

– Я не писал этого, маэстро! – воскликнул Сомма, потрясая листком бумаги перед глазами Верди. – Не писал, нет! Только что мы говорили об этом: я не желаю участвовать в фарсе, который... Нет! Конечно, что касается публики... О, это действительно подлинное безумие! Улицы кипят! На рынке, в магазинах, в трактирах только и разговоры – Верди, Верди, новая опера... Да. Но это... Я не понимаю.

– Это ваш почерк, дорогой Сомма? – Верди отнял у либреттиста бумагу, положил ее рядом с кипой лежавших на столе листов – это был текст третьего акта, написанный той же рукой, с пометками, сделанными Верди, почерк маэстро легко было отличить, он был, как изломы крепостной стены на фоне мягких изгибов течения узкой речки.

– Мой, – нервно произнес Сомма. – Если это и подделка, то очень искусная. Чрезвычайно. Но я этого не писал. Не помню точно – все-таки прошло уже три недели, – но

примерно так: «Исправления, которые хочет получить этот глупец (я имею в виду цензора Скотти), человек в своем роде умный, но преданный австрийской короне настолько, что всякие споры с ним считаю бесполезными и бессмысленными»... да... «я не могу, к моему великому сожалению, в дальнейшем участвовать»... ну, и так еще: «мое имя на афише спектакля»... Я об этом тоже упомянул, для меня это важно, маэстро, я уважаемый в Венеции человек, у меня адвокатская практика, и мне может повредить... безусловно, повредит скандал, который...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.